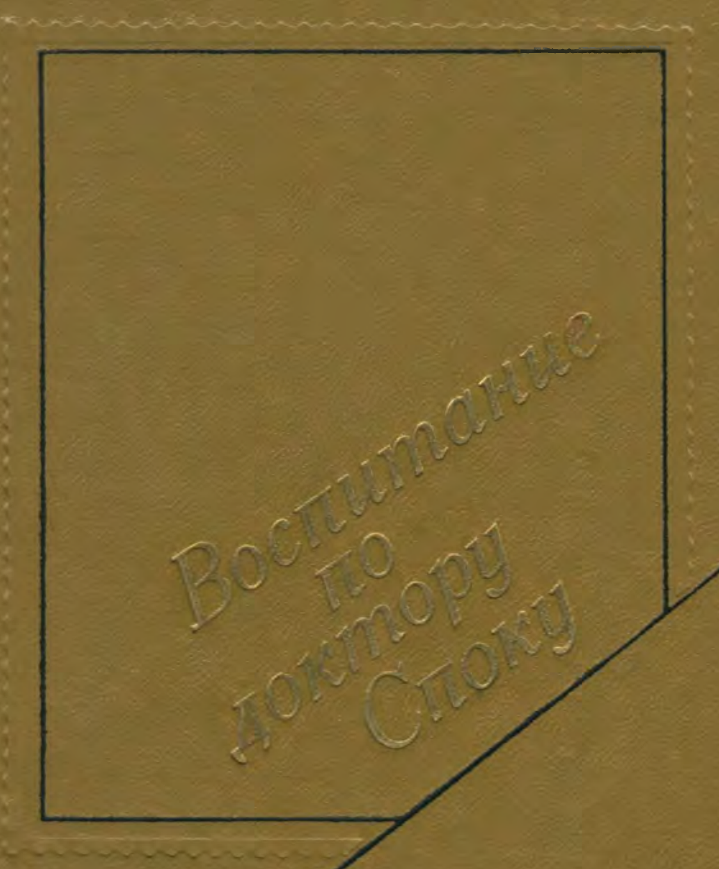
Василий Белов



Василий
Белов

Воспитание по доктору Споку

Сборник
прозы



Москва • 1978

Р2
Б43

Белов В. И.

Б43 Воспитание по доктору Споку. Сборник прозы. М., «Современник», 1978.
256 с.

В новую книгу Василия Белова вошли повести и рассказы, объединенные сюжетом и одним персонажем.

Вопросы нравственной чистоты современного человека, социалистической морали и семейных отношений являются главными в этой книге.

Б $\frac{70302-160}{М106(03)-78}$ 6—78 Р2

Плотницкие рассказы

1

Дом стоит на земле больше ста лет, и время совсем его скособочило. Ночью, смакуя отрадное одиночество, я слушаю, как по древним бокам сосновой хоромины бьют полотнища влажного мартовского ветра. Соседний кот-полуночник таинственно ходит в темноте чердака, и я не знаю, чего ему там надо.

Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов. Изредка, вдоль по слоям, лопаются кремневые пересохшие матицы, скрипят усталые связи. Тяжко бухают сползающие с крыши снежные глыбы. И с каждой глыбой в напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение от снежного бремени.

Я почти физически ощущаю это облегчение. Здесь, так же как снежные глыбы с ветхой кровли, сползают с души многослойные глыбы прошлого... Ходит и ходит по чердаку бессонный кот, по-сверчиному тикают ходики. Память тасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду. Какая-то длинная получилась пулька... Длинная и путаная. Совсем не то что на листке по учету кадров. Там-то все намного проще...

За тридцать четыре прожитых года я писал свою биографию раз тридцать и оттого знаю ее назубок. Помню, как нравилось ее писать первое время. Было приятно думать, что бумага, где описаны все твои жизненные

этапы, кому-то просто необходима и будет вечно храниться в несгораемом сейфе.

Мне было четырнадцать лет, когда я написал автобиографию впервые. Для поступления в техникум требовалось свидетельство о рождении. И вот я двинулся выправлять метрики. Дело было сразу после войны. Есть хотелось беспрерывно, даже во время сна, но все равно жизнь казалась хорошей и радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась она в будущем.

. С таким настроением я и топал семьдесят километров по майскому, начинающему просыхать проселку. На мне были почти новые, обсоюженные сапоги, брезентовые штаны, пиджачок и простреленная дробью кепка. В котомку мать положила три соломенных колоба и луковицу, а в кармане имелось десять рублей деньгами.

Я был счастлив и шел до райцентра весь день и всю ночь, мечтая о своем радостном будущем. Эту радость, как перец хорошую уху, приправляло ощущение воинственности: я мужественно сжимал в кармане складничок. В ту пору то и дело ходили слухи о лагерных беженцах. Опасность мерещилась за каждым поворотом проселка, и я сравнивал себя с Павликом Морозовым. Разложенный складничок был мокрым от пота ладони.

Однако за всю дорогу ни один беженец не вышел из леса, ни один не покусился на мои колоба. Я пришел в поселок часа в четыре утра, нашел милицию с загсом и уснул на крылечке.

В девять часов явилась непроницаемая заведующая с бородавкой на жирной щеке.

Набравшись мужества, я обратился к ней со своей просьбой. Было странно, что на мои слова она не обратила ни малейшего внимания. Даже не взглянула. Я стоял у барьера, замерев от почтения, тревоги и страха, считал черные волосинки на теткиной бородавке. Сердце как бы ушло в пятку...

Теперь, спустя много лет, я краснею от унижения, осознанного задним числом, вспоминаю, как тетка, опять же не глядя на меня, с презрением буркнула:

— Пиши автобиографию.

Бумаги она дала. И вот я впервые в жизни написал автобиографию:

«Я, Зорин Константин Платонович, родился в деревне Н...ха С...го района А...ской области в 1932 году. Отец — Зорин Платон Михайлович, 1905 года рождения, мать — Зорина Анна Ивановна с 1907 года рождения. До революции родители мои были крестьяне-середняки, занимались сельским хозяйством. После революции вступили в колхоз. Отец погиб на войне, мать — колхозница. Окончив четыре класса, я поступил в Н-скую семилетнюю школу. Окончил ее в 1946 году».

Дальше я не знал, что писать, тогда все мои жизненные события на этом исчерпывались. С жуткой тревогой подал бумаги за барьер. Заведующая долго не глядела на автобиографию. Потом как бы случайно взглянула и подала обратно:

— Ты что, не знаешь, как автобиографию пишут?

...Я переписывал автобиографию трижды, а она, почесав бородавку, ушла куда-то. На-

чался обед. После обеда она все же прочитала документы и строго спросила:

— А выписка из похозяйственной книги у тебя есть?

Сердце снова опустилось в пятку: выписки у меня не было...

И вот я иду обратно, иду семьдесят километров, чтобы взять в сельсовете эту выписку. Я одолел дорогу за сутки с небольшим и уже не боясь беженцев. Дорогой ел пестики и нежный зеленый щавель. Не дойдя до дому километров семь, я потерял ощущение реальности, лег на большой придорожный камень и не помнил, сколько лежал на нем, набираясь новых сил, преодолевая какие-то нелепые видения.

Дома я с неделю возил навоз, потом опять отпросился у бригадира в райцентр.

Теперь заведующая взглянула на меня даже со злобой. Я стоял у барьера часа полтора, пока она не взяла бумаги. Потом долго и не спеша рылась в них и вдруг сказала, что надо запросить областной архив, так как записи о рождении в районных гражданских актах нет.

Я вновь напрасно огрел почти сто пятьдесят километров...

В третий раз, уже осенью, после сенокоса, я пришел в райцентр за один день: ноги окрепли, да и еда была получше — поспела первая картошка.

Заведующая, казалось, уже просто меня ненавидела.

— Я тебе выдать свидетельство не могу!— закричала она, словно глухому.— Никаких записей на тебя нет! Нет! Ясно тебе?

Я вышел в коридор, сел в углу у печки и... разревелся. Сидел на грязном полу у печки и плакал,— плакал от своего бессилия, от обиды, от голода, от усталости, от одиночества и еще от чего-то.

Теперь, вспоминая тот год, я стыжусь тех полудетских слез, но они и до сих пор кипят в горле. Обиды отрочества — словно зарубки на березах: заплывают от времени, но никогда не зарастают совсем.

Я слушаю ход часов и медленно успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что поехал домой. Завтра буду ремонтировать баню... Насажу на топорище топор, и наплевать, что мне дали зимний отпуск.

2

Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости. Все здесь срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу.

В таких вовсе не редких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый.

Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое

с овином гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленый на студеном ключе колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна-разъединственная родственница — полувековая, насквозь прокопченная баня.

Я готов топить эту баню чуть ли не через день. Я дома, у себя на родине, и теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера. Такие ясные и всегда разные зори. Так спокойны и умиротворенно-задумчивы леса зимою и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке...

А когда-то я всей душой возненавидел все это. Поклялся не возвращаться сюда.

Второй раз я писал автобиографию, поступая в школу ФЗО учиться на плотника. Жизнь и толстая тетка из районного загса внесли свои коррективы в планы насчет техникума. Та же самая заведующая хоть и со злостью, но направила-таки меня на медицинскую комиссию, чтобы установить сомнительный факт и время моего рождения.

В районной поликлинике добродушный с красным носом доктор лишь спросил, в каком году я имел честь родиться. И выписал бумажку. Свидетельство о рождении я даже не видел: его забрали представители трудрезервов; и опять же без меня был выписан шестимесячный паспорт.

Тогда я ликовал: наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему же

теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню?..

Странно, так все странно и неожиданно...

Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли, в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто, чуть прихватило гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявшей его, сруб этот хранит в себе горечь десятилетий...

Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить и перестлать полки, перекласть каменку. Зимой затея эта выглядела нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом. Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба: плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт, и это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами, без помощи хотя бы какого-нибудь старичка, с ремонтом не справиться. Ко всему, у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старику, к Олеше Смолину, чтобы попросить помощи.

У смолинского дома на жердочке одиноко сушились простиранные кальсоны. Дорожка к открытым воротам была разметена, новые

дровни, перевернутые набок, виднелись неподалеку. Я прошел по лесенке вверх, взялся за скобу, и в избе звонко залилась собачка. Она кинулась на меня весьма рьяно. Старуха, жена Олеши Настасья, выпроводила ее за двери:

— Иди, иди к водяному! Ишь, фулиганка, налетела на человека.

Я поздоровался и спросил:

— Дома сам-то?

— Здорово, батюшко.

Настасья, видать, была совсем глухая. Она обмахнула лавку передником, приглашая садиться.

— Старик-то, спрашиваю, дома или ушел куда?— снова спросил я.

— А куды ему, гнилому, идти: вон на печь утянулся. Говорит, что насмока[1] в носу завелась.

— Сама ты насмока,— послышался голос Олеши.— Да и завелась не тепере.

После некоторой возни хозяин слез на пол, обул валенки.

— Самовар-то поставила? Не чует ни шиша. Констенкин Платонович, доброго здоровьица!

Олеша — сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисунка из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Олеша Смолин, когда мы начинали бегать по улице

---

[1] Насмока — насморк.

на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из тальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства...

Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии разделял два синих, словно апрельская капель, глаза. Седая и черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Олешином ухе тяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу либо платок, повязанный по-флибустьерски.

Сначала Смолин выспросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня двадцать четыре дня.

Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Олеши Смолина, а Олеша хотел узнать то же самое, только с моей точки зрения, и чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Олеша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой:

— Баня, говоришь? Баня, Констенкин Платонович, дело нужное. Вон и баба у меня. Глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться.

Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал у шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев.

— Двери! Двери беги закрой! — вдруг засуетился Олеша. — Да поплотней!

Не зная еще, в чем дело, я поневоле сделал движение к дверям.

— А то убежит, — одобрительно заключил Олеша.

— Кто?

— Да самовар-то...

Я слегка покраснел, приходилось привыкать к деревенскому юмору. Кипяток в самоваре, готовый хлынуть через край, то есть «убежать», тут же успокоился. Настасья сняла трубу и остановила тягу. А Олеша как бы случайно достал из-под лавки облегченную на одну треть чекушку. Делать было нечего: после краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил, снял полушубок и повесил его у дверей на гвоздик. Мы выпили «в чаю», иными словами — горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. Уже через полчаса Олеша не очень сильно уговаривал меня не ходить, но я не слушал и, ощущая в ногах какой-то восторг, торопился в сельповскую лавку.

Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко, была везде густая светлая тишина.

Пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям, а Олеша принес в алю-

миниевом блюдечке крохотных, с голубым отливом соленых рыжиков. После обоюдного потчевания выпили снова, логика сразу стала другая, и я ныром, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушел в бездну Олешиных разговоров.

3

—...Ты, Констенкин Платонович, про мою жизнь лучше не спрашивай. Она у меня вся как расхожая библия: каждому на свой лад. Кому для чего сгожусь, тот и дергает. Одному от Олеши то, другому это понадобилось. А третьему до первых двух и дела нет, обоих отменил. Установил свою атмосферу. Да. Ну, а Олеша чего? Да ничего. Олеша и сам... как пьяная баба: не знает, в какую сторону комлем лежит. Всю жизнь в своих полах путаюсь и выпутаться не могу. То ли полы длинны, то ли ноги кривы, уж и не знаю. А может, меня люди запутали?

Вот, по правде сказать, ведь не все время был такой запутанный. Помню, родила меня моя матка, а я первым делом от радости заверещал, с белым светом здоровкаюсь, ей-богу, помню, как родился. Многим говаривал, только не верят, дурачки. А я помню. То есть ничего этого не помню, один теплый туман, дрема одна, а все ж таки помню. Будто из казематки вышел. Я это был или не я, уж не знаю, может, и не я, а другой кто. Только было мне до того занятно... ну, не то чтобы занятно, а так, это... благородно было.

Ну, родился-то, я, значит, как Христос, в телячьем хлеву и как раз на самое рождество. Все дело у меня сперва шло хорошо, а потом и почал запутываться. Одно по-за одному...

Конечно, семья большая, бедная. Отец-мать нас, дристунов, не больно и нянчили. Зимой на печке сидим да таракашков за усы имаем. Иного и слопаешь. Ну, зато летом весь простор наш. Убежишь в траву, в крапиву... Оно дело ясное: мерло нашего брата много, счету не было. Только родилось-то еще больше, вот оно никто и не замечал, что мерли. Меня, бывало, бабка по голове стукнет либо там тычка даст в бок: «Хоть бы тебя, Олешка, скорее бог прибрал, чтобы тебе, дураку, потом зря не маяться!» Мне все старухи верную гибель сулили. Темя пощупают, да и говорят: «Нет, девушка, этот нет, не жилец». Есть, вишь, примета, что ежели у ребенка ложбина на темени, так этот умрет в малолетстве, жить не будет. А я им всем шиш показал. Взял да и выжил. Конечно, каяться не каялся после этого, а особого восторгу тоже во мне не было...

Помню, великим постом привели меня первый раз к попу. На исповедь. Я о ту пору уже в портчонках бегал. Ох, Платонович, эта религия! Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было других разов. Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала: «Ты, говорит, Олешка, слушай, что тебя будут спрашивать, слушай и говори: «Грешен, батюшка!» Я, значит, и предстал в своем детском виде перед попом.

Он меня спрашивает: «А что, отрок, как зовут-то тебя?»—«Олешка»,— говорю. «Раб, говорит, божий, кто тебя так непристойно глаголеть выучил? Не Олешка, бесовского звука слово, а говори: наречен Алексеем».— «Наречен Алексеем».—«Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь?» Я и ляпнул: «Сину да небесину!»—«Вижу,— поп говорит,— глуп ты, сын мой, яко лесной пень. Хорошо, коли по младости возраста». Я, конечно, молчу, только носом швыркаю. А он мне: «Скажи, чадо, грешил ты перед богом? Морковку в чужом огороде не дергал ли? Горошку не воровывал ли?» — «Нет, батюшка, не дергал».—«И каменьями в птичек небесных не палил?»—«Не палил, батюшка».

Что мне было говорить, ежели я и правда по воробьям не палил и в чужих загородах шастать у меня моды не было.

Ну, а батюшка взял меня за ухо, сдавил, как клещами, да и давай вывинчивать ухо-то. А сам ласково эдак, тихо приговаривает: «Не ври, чадо, перед господом-богом, бо не простит господь неправды и тайности, не ври, не ври, не ври...»

Я из церкви-то с ревом: ухо как в огне горит, да всего обиднее, что зря. А тут еще матка добавила, схватила ивовый прут, спустила с меня портки и давай стегать. Прямиком на морозе. Стегает да приговаривает: «Говорено было, говори: грешен! Говорено было, говори: грешен!»

Я эту деру и сейчас детально помню. Ну, хорошо. Ладно бы одна такая дера, я бы си-

дел, не крякал. Во второй раз пришел на исповедь, а меня и вдругорядь тот же момент настиг. Одну правду попу говорил, а он хоть бы слову моему поверил. Да еще и отцу внушенье сделал, поп-то, а отец меня и взял в оборот. После этого я и думаю своим умом: «Господи! Что мне делать-то! Правду говорю — не верят, а ежели обманывать — греха боюсь». Вот опять надо скоро на исповедь. Опять мне дера налажена... Нет, думаю, в этот раз я вам не дамся. Вот что, думаю, сделаю, возьму да нарочно и нагрешу. Другого выхода нет. Взял я, Платонович, у отца с полавошника осьминку табаку, отсыпал в горсть, спички с печного кожуха упер, бумажки нашел. Раз — с Винькой Козонковым в ихний овин, да и давай учиться курить. Устроили практику... Запалили, голова кругом, тошнит, а курю... Белый свет ходуном идет. «Я,— это Винька говорит,— я уже давно курю, а ты?»—«Я,— говорю,— грешу. Мне греха надо побольше, а то опять попадет после исповеди». Из овина вылезли, меня по сторонам шатает, опьянел совсем. Первый раз в жизни опьянел. А на исповеди взял да и покаялся. Поп отцу не сказал ни словечка. Уж до того он довольный был, что меня воспитал...

С того разу я и начал грешить, стегать меня враз перестали. Жизнь другая пошла. Я, друг мой, так думаю. Мне хоть после этого и легче стало жить, а только с этого места и пошла в моей жизни всякая путанка. Ты-то как думаешь?..»

4

На второй день я просыпаюсь от яркого, бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь: только легкий туман в голове да несильная жажда остались от вчерашнего.

Иду вниз и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они разваливались от двух ударов, если топор попадал прямо в середину. Морозные поленья звенели, как звенел за двором наст и ядреный свежий утренник. Было приятно влепить топор в середину чурки, вскинуть через плечо и, крякнув сильно, резко опустить обух на толстую пла́ху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с коротким звенящим стоном.

С десяток поленьев я принес в дом, открыл печную задвижку, вьюшки и заслонку. Нащепал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое, поперечное полено. Зажег лучину и на лопате положил ее на полено. Склал на лучину поленья. Запах огня был чист и резок. Дым белым потоком, огибая кирпичное устье, пошел в трубу, и я долго смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бадьи и скользкий отшлифованный водонос, пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками фарфоровым звоном. Снег на солнце был до того ярок и светел, что глаза непроизвольно щурились, а в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева. Под горой на речке

я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянуло прозрачным и, видимо, очень толстым стеклом; я сходил на соседнюю Олешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко толкать под лед. Но течение уже утянуло его. Я слушал, как он уплывал, стукаясь, исчезая в речной темноте. А здесь, на дне проруби, виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки.

Вихляющая тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаг в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Чтобы погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца.

Дома налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей и опустил их в нутро самовара. Самовар зашумел почти тотчас же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы, вода домовито булькала в медном чреве. Пар бил из дырки султаном.

Я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду. Ощущая первобытную, какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба, налил стакан янтарно-бурого чая. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы. Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окна, в доме и на улице было удиви-

тельно спокойно и тихо, и этот покой оттенялся добрым, умиротворенно ворчливым шумом затухающего самовара.

Р-р-рых! Я ни с того ни с сего выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение «телячий восторг», прыгнул еще, и посуда зазвенела в шкафу. В таком виде и застал меня Олеша.

— Ну и обряжуха,— сказал старик,— печь, гляжу, истопил, за водой сбегал. Тебе жениться надо.

— Я бы не прочь, кабы не разводиться сперва.

— У тебя женка-то ничего.— Олеша взял со стола Тонин портрет и почтительно поразглядывал.

— Ничего?— спросил я.

— Ничего. Востроглазая. Не загуляет там, в городе-то?

— Кто ее знает...

— Нынче живут прохладно,— сказал Олеша и завернул цигарку.— Может, оно и лучше эдак.

...Мы взяли топоры, лопату, ножовку. Не запирая дом, двинулись ремонтировать баню.

Пока я раскидывал снег вокруг сруба, Олеша разобрал каменку, опрятно сложил в предбаннике кирпичи и прокопченные валуны. Выкидали покосившиеся полки и разобрали прогнившие половицы. Я пнул валенком нижнее бревно, и в бане стало светло: гнилое совсем, оно вылетело наружу. Олеша простукивал обухом другие бревна. Начиная

с третьего ряда, они были звонкие, значит, ядреные.

Старик полез наверх проверять крышу и потолок.

— Гляди не свались,— посоветовал я, но Олеша кряхтел, стучал обухом.

— Полечу, так ведь не вверх, а вниз. Невелика беда.

Теперь было ясно, что крышу и стропила можно не трогать. Мы присели на пороге, решив передохнуть. Олеша вдруг легонько толкнул меня в бок:

— Ты погляди на него...

— На кого?

— Да вон Козонков-то, дорогу батогом щупает.

Авинер Козонков, другой мой сосед, проваливаясь в снегу, при помощи березовой палки правился в нашу сторону. Ступая по нашим следам, он наконец выбрался к бане.

— Ночевали здорово.

— Авинеру Павловичу, товарищу Козонкову,— сказал Олеша,— наше почтение.

Козонков был сухожильный старик с бойкими глазами; волосы тоже какие-то бойкие, торчали из-под бойкой же шапки, руки у него были белые и с тонкими, совсем не крестьянскими пальчиками.

— Что, не отелилась корова-то?— спросил Олеша.

Козонков отрицательно помотал ушами своей веселой шапки. Он объяснил, что корова у него отелится только после масленой недели.

— Нестельная она у тебя,— сказал Олеша и прищурился.— Ей-богу, нестельная.

— Это как так нестельная? Ежели брюхо у ее. И подхвостица, старуха говорит, большая стала.

— Мало ли что старуха наговорит,— не унимался Олеша.— Она, старуха-то, может, и не разглядела по-настоящему.

— Стельная корова.

— Какая же стельная? Ты ее до ноября к быку-то гонял? Ты посчитай, не поленись, сколько месяцев-то прошло. Нет, парень, нестельная она у тебя, останешься ты без молока.

Я видел, что Олеша Смолин просто разыгрывает Авинера. А тот сердился всерьез и изо всей мочи доказывал, что корова обгулялась, что без молока он, Козонков, вовек не останется. Олеша нарочно заводил его все больше и больше:

— Стельная! Ты когда ее к быку-то гонял?

— Гонял.

— Да знаю, что гонял. А когда гонял-то? Ну, вот. Теперь давай считать...

— Мне считать нечего, у меня все сосчитано!

Козонков окончательно разозлился. Вскоре он посоветовал Олеше думать лучше о своей корове. Потом как бы случайно намекнул на какое-то ворованное сено, а Олеша сказал, что сена он сроду не воровал и воровать не будет, а вот он, Козонков, без молока насидится, поскольку корова у него нестельная, а если и стельная, так все равно не отелится.

Я сидел молча, старался не улыбаться, чтобы не обидеть Авинера, а он совсем разо-

шелся и пригрозил Олеше, что все одно напишет куда следует, и сено у него, у Олеши, отберут, поскольку оно, это сено, даровое, без разрешения накошено.

— Ты, Козонков, меня этим сеном не утыкай,— говорил Олеша.— Не утыкай, я те говорю! Ты сам вон косишь на кладбище, тебе, вишь, сельсовет разрешил могильники обкашивать. А ежели нет такого закона по санитарному правилу — косить на кладбище? Ведь это что выходит? Ты на кладбище трын-траву косишь, покойников грабишь.

— А я тебе говорю: напишу!

— Да пиши хоть в Москву, тебе это дело знакомое! Ты вон всю бумагу перевел, все в газетку статьи пишешь. За каждую статью тебе горлонару на чекушку дают, а ты по суседскому делу хоть разок пригласил на эту чекушку? Да ни в жись? Всю дорогу один дуешь.

— И пью!— отрезал Авинер.— И пить буду, меня в районе ценят. Не то что тебя.

Тут Олеша и сам заметно разозлился.

— А иди ты, Козонков, в свою коровью подхвостицу,— сказал он.

Козонков и в самом деле встал. Пошел от бани, ругая Олешу, потом оглянулся и погрозил батогом:

— За оскорбление личности. По мелкому указу!

— Указчик...— Олеша взялся за топор.— Такому указчику хрен за щеку.

Я тоже взялся за пилу, спросил:

— Чего это вы?

— А чего?— обернулся плотник.

— Да так, ничего...

— Ничего оно и есть ничего.— Олеша поплевал на задубевшие ладони.— Всю жизнь у нас с ним споры идут, а жить друг без дружки не можем. Каждый день проведывает, чуть что — и шумит батогом. С малолетства так дело шло. Помню, весной дело было...

Олеша, не торопясь, выворотил гнилое бревно.

Теперь отступать было некуда, баню распечатали и волей-неволей придется ремонтировать. Слушая неторопливый разговор Олеши Смолина, я прикинул, сколько дней мы провозимся с баней и хватит ли у меня денег, чтобы расплатиться с плотником.

Олеша говорил не спеша, обстоятельно, ему не надо было ни поддакивать, ни кивать головой. Можно было даже не слушать его, он все равно не обиделся бы, и от этого слушать было еще приятнее. И я слушал, стараясь не перебивать и радуясь, когда старик произносил занятные, но забытые слова либо выражения.

5

— Весной дело было. Мы с Козонковым точные одногодки, всю дорогу варзали вместе. В деревне было нашего брата-малолетка, что комарья, ну и Козонковы братаны тоже крутились в этой компании. Как сейчас помню, оба в холщовых портках. Портки эти выкрашены кубовой краской, а рубахи некрашеные. Ну, конечно дело, оба босиком. Черные, как арапы. Звали их соплюнами. У старшего Петьки, быва-

ло, сопля выедет до нижней губы. Ему лень вытереть, возьмет да и слизнет — как век не бывало. Вот, помню, кажись, на третий день пасхи вся наша орда высыпала на Федуленкову горушку. У нас такая забава была — глиной фуркать. Прут ивовый вырежешь, слепишь птичку из глины и фуркаешь, у кого дальше. Далеко летело, у иного и за реку. Чем меньше птичка да чем ловчее фуркнешь, тем лучше летит. А наш Виня взял да насадил на прут целую гогырю с полфунта весом, все надо было, чтобы лучше других, размахнулся да как даст. Прямохенько в Федуленково окно и угодил. Стекло так и брызнуло, обе рамы прошиб. Мы все и обмерли. А после очнулись да бежать.

В это время Федуленок сам не свой из избы выскочил, того и гляди, убьет кого. Мы в поле, врассыпную, босиком по вешним-то лужам. Бегу я, бегу да и оглянусь — вижу, Федуленок за нами бежит. В сапожищах бежит, в одной рубахе, чую, что сейчас мне крышка, вот-вот раздавит. «Стой, кричит, прохвост, я тебя все одно настигну». Ну и настиг. Взгреб он меня лапищами, да и давай меня корежить, ну чисто медведь-шатун. Ничего не помню, помню только, что ревел, как недорезанный. Федуленок меня прикончил бы, как пить дать прикончил, не прибеги мой отец на выручку. Отец-то, видать, соху оставил в борозде, да и прибежал мою жизнь от смерти спасать.

Федуленок от меня и отступился, а мне думаешь легче? От отца мне еще больше попало. Кабы я стекло разбил — не обидно. А ведь как все получилось? Как Винька от

Федуленка выкрутился? Соплюн соплюном, а когда припекло, так соображенье и появилось. Да еще и хвастает перед нами-то: я, мол, когда Федуленок на улицу выскочил, никуда не побежал, на месте стою, да приговариваю: «Вон оне побежали-то! Вон оне в поле побежали!» Ну, Федуленок и ринулся за нами всей своей массой да меня и настиг. А Виня — хоть бы ему что — остался целым и невредимым. Оне оба с Петькой лежни были, ничего им не далось. Умели только дрова пилить, за ручки пилу дергать. Отец к делу их особо не приневоливал, да и сам, бывало, не переломится на работе. Все больше рассуждал да на печке зимой грелся, а летом не столько сено косил, сколько рыбу удил. Оне с моим отцом пришли с японской войны в один день. Мой тятька хромой пришел и весь в дырках, как решето, а Винькин отец целехонек. У нас и избы рядом стояли, и земли было поровну — у обоих кот наплакал. Помню, мой тятька и давай Козонкова уговаривать, чтобы, значит, на паях подсеку в лесу рубить. Козонков ему говорит: «А на кой фур мне эта подсека? На мой век и прежних полос хватит. А ежели сыновья вырастут, так пусть сами и смекают. Я им не мальчик, об ихней доле заботиться». Так и не согласился Козонков. Отец у нас ту подсеку один вырубил. Ночей, грешник, не спал, с глухим лесом сражался. Сучья жег, пеньки корчевал по два лета. Посеял льну. Лен вырос — пуп скрывает, помню, и в престольный праздник велел теребить, на гулянку не отпустил. С этого льну он и лошадь — Карюху — завел новую, хорошую. Бывало, берег ее, как невесту, даже и с пустого

воза слезал, ежели в гору. Только на ровном месте да под гору и садился на дровни. Ну, конечно, и нас учил этому, — бывало, в галоп в поскотину век не прокатишься.

Ну, а Козонковы-братаны? Оне, бывало, свою Рыжуху, как собаку, батогом дразнили. Хорошая была тоже лошадь, да довели, напоили один раз с пылу в проруби, Рыжуха и стала худеть; помню, жалко ее, стоит она, бедная, стоит и целыми часами плачет. Отец Козонков ее цыганам и променял. Те ему дали в придачу поросенка-пудовичка. А выменял такого одра, что не то что пахать, так и навоз-то возить на нем нельзя. Скоро этот цыганский мерин и сдох от старости. Козонкову это хоть бы что, только насвистывает. Бывало, доживет до тюки: кусать совсем нечего. Ну, и пошел денег занимать. У одного займет, у другого, у четвертого займет да второму отдаст, так и шло дело.

Один раз подкатило такое время, что у всех назанимал. Чисто место, некуда больше идти. Остался один Федуленок. Пришел Козонков к Федуленку денег взаймы просить. Маленькая печка в избе топится, сели они у печки, цигарки свернули. Козонков денег попросил, достал из кармана спички. Чиркнул спичку, прикурил. «Нет, Козонков, не дам я тебе денег взаймы!»— Федуленок говорит.—«Почему?— Козонков спрашивает.— Вроде я свой, деревенский, и за море не убегу».—«За море не убежишь, сам знаю, только не дам, и все». Сказал так Федуленок, уголек выгреб из печи, положил на ладонь да от уголька и прикурил. «Вот, говорит, когда ты, Козонков, научишься по-людски прикуривать, тогда

и приходи. Тогда я слова не скажу, из последних запасов выложу».

На что был справный мужик, иной год и трех коров держал, а прикурил от уголька, спичку сберег. Так и не дал денег, а с Козонкова все как с гуся вода. Пошел из избы: «Мне, говорит, и денег-то не надо было, это, говорит, я твою натуру испытывал». Уж какое не надо!

Помню, нам с Винькой было уж по двенадцать годов, приходскую школу окончили. Винька на своем гумне все ворота матюгами исписал, почерк у него с малолетства как у земского начальника. Отец меня только под озимое пахать выучил. Карюху запряг, меня к сохе поставил и говорит: «Вот тебе, Олеша, земля, вот соха. Ежели к обеду не спашешь, полосу, приду — уши все до одного оборву». И сам в деревню ушел, он тогда этот, нынешний, дом рубил. Я — велик ли еще — за соху-то снизу, сверху-то мал ростом. Но, милая, пошли-поехали! Карюха была умница, меня пахать учила. Где неладно ворочу, дак там она меня сама и выправит. Вот иду и дрожу, не дай бог соха на камень наедет да из земли выскочит. Ну, пока бороздой прискакиваешь, вроде и ничего, а как до конца дойдешь, когда надо заворачиваться да соху-то заносить, так сердце и обомрет. Мало было силенок-то, аж из тебя росток выходит, до того тяжело. Комары меня кушают, на разорке[1] так и прет в сторону. Ору я это, землю родимую, ору, новомодный оратай, уж и в глазах у меня по-

---

[1] Разорок — последняя узкая лента невспаханной земли, после которой остается лишь борозда.

темнело. Карюха на меня поглядывает, видать, и ей жаль меня, малолетка. Полосу-то вспахал, да и чую, что весь выдохся, руки-ноги трясучка обуяла, язык к небу присох. Лошадь остановилась сама. А я сел на землю да и пышкаю, как утопленник воздух глоткой ловлю, а слезы из меня горохом катятся. Сижу да плачу. Не слыхал, как отец подошел. Сел он рядом да тоже и заплакал. Голову руками зажал: «Ох, говорит, Олешка, Олешка».

Ты, Костя, сам посуди, семья сам-восьмой, а работник один, да и то японским штыком проткнут. «Паши, говорит, Олеша, паши, уж сколько попашется». Ну, делать нечего, надо пахать. Ушел отец, а я и давай пахать вторую полосу... У Козонковых полосы рядом с нашими. Козонков-отец пашет, а Винька за ним ходит да батожком навоз в борозду спехивает. Вижу, ушел Козонков в кусты, а Винька ко мне: «Олешка, говорит, до того мне напостыло навоз спехивать. Оводы, говорит, заели, так бы и убежал на реку». Я говорю: «Тебе полдела навоз спехивать, я бы на твоем месте не нявгал»[1].— «А хошь, говорит, сейчас на слободе буду?» Пока отец в кустах был, наш Виня взял с полосы камень, да и подколотил у сохи какой-то клинышек. Отец пришел, а соха не идет, да и только. Все время из борозды прет. Козонков соху направлять не умел. Пошел Федуленка просить, чтобы тот соху направил. Пока то да се, глядишь, и обед, надо лошадей кормить, Винька и рад. Так он этому делу навострился, что, бывало, отец

---

[1] Нявгать — стонать, капризничать.

у него только немного замешкается, Винька раз — и клинышек подколонул. Соха не идет, и Виньке свобода полная. На сенокосе все на солнышко глядел, когда оно к лесу опустится. А то пойдут с маткой дрова рубить, Виньке надоест, возьмет да и спрятает маткин топор. Мохом его обкладет, топор-то...»

Олеша замолчал, чтобы сделать передышку. Он вытесывал очередную лагу для вывешивания бани. Мне подумалось, что разговоры отнюдь не во всех случаях мешают работе. В этом случае даже наоборот: разговор у Олеши Смолина как бы помогал работе плотницких рук, а работа в свою очередь оживляла разговор, наполняя его все новыми сопоставлениями. Так, к примеру, когда выставляли раму и разбили стекло, Олеша тут же и вспомнил, как попало ему за то разбитое Винькой стекло. С того стекла и пошло у него шире, дальше... Это была какая-то цепная реакция. Олеша говорил, не останавливаясь. И я почувствовал, что теперь было бы уже неприлично не слушать старого плотника.

6

— Ну вот, я Виньке Федуленково стекло никак не мог забыть и не один раз ему пенял, а потом мы с ним и разодрались в первый раз. «Я, говорю, тебе стукну за это стекло».—«Вали!»—«И вальну!»—«А вот вальни!» Сцепились мы на ихнем гумне. Дома узнали — мне опять дера. Пошто, дескать, дерешься. Все деры из-за него, сопленосого. Один раз слышу, отец с маткой разговаривают: мол, Козонкова пороть собираются. Так,

думаю, этому Вине и надо, не все меня одного пороть. Только слышу, что пороть-то будут не Виньку, а евонного отца: подати не платил, вот ему и присудили. А мне жалко стало. Ну, ладно, малолетка порют — нам это дело по штату положено. А слыхано ли дело, Платонович, больших мужиков да вицами по голому телу? Бородатых-то? Волостной старшина у нас был, звали Кирило Кузмич. Маленький мужичонка, много годов бессменно в управе сидел. И расписываться не умел, крестики на бумаге ставил, а имел от царя треугольную шапку и кафтан за выслугу лет. Писарь, да урядник, да этот Кирило Кузмич — вот и все начальство. На целую волость — три. А в волости народу было пятьсот хозяйств.

Вот этот Кирило Кузмич все время Козонкова и выгораживал, пока из уезда не приехал казацкий контроль. У кого корову описали за подати, у кого телушку, у Козонкова описывать нечего — назначили ему деру. Меня на эту картину отец не отпустил, говорит: нечего и глядеть на этот позор, а Винька бегал. Бегал глядеть да еще и хвастался перед нами: мол, видел, как тятьку порют, как он на бревнах привязанный дергался... Эх, Русь-матушка! Ну, выпороли Козонкова-отца, а он у писаря денег занял, косушку купил. Идет домой да поет песни с картинками... Волосья на одну драку осталось, а он песни похабные шпарит... Да.

Помню, начали, значит, и мы с Винькой на девок поглядывать. По тринадцать годов обоим, зашебаршилось у нас, иное место тверже кочедыка. Помню одно событие осенью, ближе к покрову. Ночи темные, вся деревня как в де-

готь опущена. Я дрова у гумна складывал, приходит ко мне Винька. «Иди-ко, говорит, сюда, чего-то скажу». — «Чего?» — говорю. «А вот иди-ко...» Я гумно на замок запер, а дело в субботу было, и на улице уже темно стало. Воздух этот такой парной от тумана, слышно, как дымом пахнет, бани только что протопились. Виня и говорит шепотком: «Пойдем, Олешка, со мной».—«Куда?»—«А вот сейчас увидишь куда».

Ну, я иду за ним. Огород перелезли, а темно, ткни в глаз — ничего не видно. Еще один огород перелезаем, вдруг как треснет подо мной жердина. Виня на меня: «Тише, говорит, дурак, иди, чтобы не слышно было!» Подхожу ближе, как вор, вижу строение какое-то, вроде бани Федуленкова. В окошечке свет, лучина горит, слышно, как от воды каменка шипит, Федуленковы девки парятся, разговаривают.

Винька пригнулся да из-за угла, как кот, к окошку-то. Шапку нахлобучил и в баню глядит. Я стою сам не свой. Винька поглядел, отодвинулся, да и шепчет: «Гляди, теперь ты, Олешка, только недолго, а я еще потом погляжу!» Ну, я ничего не помню. К окошку меня, как магнитом, так само и волокет, дрожу весь, как глянул в баню-то, будто в кипяток меня окунули. Чувствую сам, что нехорошо делаю, а и оторваться нет никакой силы-возможности. Девки Федуленковы с лучиной моются, одна Раиска, другая Танька — помоложе. Танька наша ровесница, румяные обе, розовые. Вижу, Раиска новую лучину от старой зажигает, стоит на самом свету, ноги что кряжи. У Таньки, у той титечки, как белые репки. Меня всего так и трясет, а сзади

Винька вот за полу дергает, вот дергает: «Дай, говорит, теперь мне». А ведь оконышко-то еле во ставу стоит, стекла на лучинках чуть держатся, и весь наш хитрый шорох слышно. Девки-то присели да как завизжат! Мать честная, бросился я от окошка-то да на Виньку, да через него перелетел, носом в холодную грядку. Кинулись мы от бани, как наскипидаренные, по капусте, через изгородь да в темное поле! Крюк с версту обогнули да в деревню с другой стороны. Утром отец будит: «Олешка, говорит, где у тебя ключ-то от гумна?» — «Как, говорю, где, в пинжаке». — «Где в пинжаке, ничего нет в пинжаке». Весь сон с меня так и слетел. Искали,— нет ключа, хоть стой, хоть падай. «Потерял, говорю, где-то».

Пришлось отцу из гуменных ворот пробой вытаскивать, а вечером приходит к нам Федуленок. Отец ушел на ночь, овин сушить. Дома была одна матка, Федуленок и говорит: «Возьми, Олешка, свой ключ да больше не теряй. В бане-то мылся вчерась?»—«Нет,— матка моя говорит, — баню-то мы вчерась не топили, каменку надо перекладывать». Федуленок говорит: «Оно и видно, что не топили». А сам вот усмехается. Я на скамье как на гвоздях сижу, готов сквозь землю провалиться, и уши у меня так и горят. Федуленок ушел, ничего не сказал, только головой покачал. Век ему этого не забуду, что не сказал никому про баню. Только иногда после, бывало, увидит, усмехнется, да и скажет: «Баню-то не топил?» Потом он от меня отступился и больше не вспоминал это дело. Вот, брат Костя, какая баня со мной была...

Олеша по-молодецки воткнул топор. Синие стариковские глаза глядели спокойно и мудро, в то время как нос и рот изображали нескрываемое озорство.

— В молодости все мы люди только до пояса.

Олеша закурил. Постигнув наконец смысл его пословицы, я спросил:

— Покаялся после?

— Попу-то?

— Да.

— Нет, брат, я к тому времени и на исповедь не ходил. Уж ежели каяться, так перед самим собой надо каяться. Противу своей совести не устоять никакому попу.

— Ну, допустим, совесть не у каждого.

— Оно правда, не у каждого. Только без совести жить — не жить. Друг дружку переколотим. Вот тятька мой, покойная головушка, был хоть и не больно строг, а любил в людях сурьезность. И деткам потачки не делал, ни своим, ни чужим. В словах у него тоже разницы не было, что с большими говорил, то и от маленьких не скрывал. Да и скрывать-то, чего скрывать? Вся евонная жизнь была как на блюдечке, дело ясное. Работал всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому скрывать нечего.

Помню, на масленицу пекла матка овсяные блины. Сперва отец наелся, после я за стол. По семейному чину и старшинству. Отец сидит, хомут вяжет да на меня поглядывает. Я блинов с рыжиками да с маслом наелся, хочу из-за стола встать. «Стой, Олешка, — тятька говорит.— Сколько блинов штук съел?» — «Пятнадцать, говорю». — «А ну, садись,

ешь еще!»—«Не хочу, тятя».—«Ешь!» Я, значит, опять ем, а матка пекет, только сковорода шипит. «Сколько съел?» — отец спрашивает. «Двадцать пять, говорю». — «Ешь!» Я сижу, ем. «Сколько?» — «Тридцать два стало». — «Ешь!» Я ем, а отец хомут отодвинул и говорит: «Ну как, Олеша, не перевалил еще на пятый десяток?»—«Нет, тятя, до сорока два с половиной осталось». Сидим. «Дотянул?» — «Дотянул, говорю, тятя». А сам еле пышкаю. «Ну, коли дотянул, так давай, матка, собирай ему котомку, пусть в Питер с мужиками идет!» Матка в слезы. Куда, дескать, малолетка плотничать, тринадцать годков еле сбылось. Отец встал да и говорит: «Ты, матка, свои звуки и слезы прикрой, а Олешке неси новые катанки». Тут я, голубчик, и нагулялся, натешился. Только одну ночку дома и ночевал.

До Питера ехали двенадцать ден. Ехали и по ночам, лошадей покормим — и опять в путь. Иду за роспусками да сам себя ругаю: пошто, думаю, мне, дураку, было те два с половиной блина лопать? Сидел бы сейчас на теплой беседе да куделю у девок из прялок дергал. Про Таньку как вспомню, так у меня сердечишко-то и лягнет под шубой. А полоз вот скрипит, лошади фыркают, кругом темный лес. По елкам красный месяц колобом катится, волчица перекликается со своим серым хахалем. Мне и жаль самого себя, и плакать противно, слезы перерос, до крепости не дорос.

Приехали мы в Питер. Две фатеры испробовали, на третьей остановились. Первый сезон за одни харчи работал — век не забыть

этот первый сезон, рубили какую-то хитрую каланчу. Шестиугольная, помню, вроде колокольни, купцу, вишь, взбрело в голову. Ярыка мужик, да Коля Самохин из нашей деревни, да Ондрюшонок Миша — всех девять человек, я десятый, довесочек. Топор у меня был свой. Помню, Ондрюшонок мне шумит: «Олешка! А ну, вставай к бревну. Окантуй сперва да горб стеши». Я, значит, топорик взял, приноровился, ноги расстановил пошире. Раз тюкнул, другой. А бью-то все сбоку, не по слою тешу, а поперек, по-бабьи. Сбоку, одно слово, и ничего у меня не подается. Гляжу, Самохин уж второе бревно начал, а я и первое до половины не доехал. Весь вспотел. Вот Ондрюшонок, вижу, топор воткнул, подходит ко мне. «Олешка!— говорит.— Сбегай-ка вон к Ярыке, попроси у его бокового правилка. А то больно уж ты, парень, неровно тешешь-то». Я прибежал к Ярыке: «Дядя Иван, меня Ондрюшонок к тебе послал, дай на время боковое правилко».—«Ладно, говорит, батюшко, сейчас дам. Вон посиди пока, подожди». Вижу, взял обрезок, ровный такой, в сажень длиной. Повертел, повертел, да и спрашивает у десятника: «Как думаешь, Миколай Евграфович, этот подойдет на правилко?» Десятник говорит: «Нет, Иван Капитонович, этот, пожалуй, тонок будет». Я стою, жду, Ярыка другой обрезок взял, потолще. «Иди, говорит, Олешка, поближе». Я подошел, а он как начал меня этим правилком по бокам охаживать! Одной рукой меня за шкирку держит, другой правилком работает. Я кручусь, верчусь, а боковое правилко по мне ходуном ходит... Выправили. После этого я сбоку уж

бревно не тесал, а тесал вдоль. Считай пятьдесят годов плотничаю.

Олеша смачно откашлялся.

— Как думаешь, не хватит для первого разу? Давай-ко, брат, Платонович, шабашить.

Я был от души рад этому предложению, и вскоре мы разошлись по домам.

Впервые за много лет я заснул как убитый, и во сне, помимо сознания, всю ночь в сладкой усталости ныли обновленные мускулы.

7

После стремительной стычки с Олешей Авинер к бане не показывался. Однажды Олеша сказал мне, что в гости к Козонкову приехала дочь Анфея, да еще и с ребенком. Олешу на чай не пригласили... Баня продвигалась медленно, и вот я твердо решил сходить к Авинеру, чтобы позвать плотничать, а заодно и примирить его с Олешей, погасить стариковскую свару.

Как-то утром я тщательно выбрился и с чувством третейского судьи обул валенки. Накануне жажда добра долго копилась во мне, и к Авинеру я направился бодро и решительно. Правда, эта бодрость вскоре сменилась некоторой растерянностью: на тропке к Авинерову дому сидел громадный волкодав. Он сонливо, молча щурился, и я на всякий случай сунул руки в карманы. Черт знает, что на уме у этого пса. Но как раз этого-то и не надо было делать. Мое движение пес воспринял как подготовку к нападению и встал с жутким рычанием. Тогда я вытащил руки и, сознавая свое унижение, потряс в воздухе

кистями, убеждая, что в них ничего опасного нет и что я — существо доброй воли...

В избе у Авинера пахло новорожденными ягнятами. Сам Авинер Павлович Козонков сидел в шапке на углу стола и читал «Родную речь» для третьего класса. На печи, стараясь не остановиться, ненатуральным голосом, равнодушно и упрямо ревел внук Авинера Славко. Здешний внук, не приезжий, как выяснилось позднее.

— Авинер Павлович! Привет! — сказал я с несколько излишней веселостью и тут же слегка покраснел от этих излишек.

Козонков сперва важно подал мне свою ладонь и давнул мои пальцы. Мне тоже пришлось легонько давнуть руку Авинера. Но Козонков давнул еще раз, а я этого не ожидал и с ощущением должника сел на лавку.

Помолчали. Славко на печи настырно ревел, хотя в интонации голоса чуялся интерес к моему приходу.

— Метет, — сказал я и подумал, что вряд ли нынче брошу курить.

— Метет, — сказал Козонков.

— Метет. Не холодно в избе-то?

— У меня тепло, — Козонков положил книгу.

— Вот зашел...— я уже чувствовал, что начинаю теряться.

— Дело хорошее.

— ...посидеть.

— Хорошее дело.

Славко ревел. Пауза оказалась такой мучительной, длинной, что я вспомнил анекдотический диалог двух старух, которые встретились в областном центре на главной площа-

ди. Одна остановила другую и спросила, обрадованная: «Это, Матрена, ты?» — «Да я-то Матрена, а ты-то кто?»—«Да я-то Евгенья, из Гридина, бывала».—«Ну так ведь и я из Гридина, узнала меня-то?»—«Нет, милая, не узнала»,— сказала Евгенья и пошла дальше. Я сделал попытку завязать разговор.

— Не бывал, Авинер Павлович, на озере?

— Нет, брат, на озере не бывал, на все время надо.

— Да, на все время надо, само собой.

— Время, да и времечко,— Авинер кашлянул.

— Оно конечно...

— То-то и оно.

— Да-да...

Я с тоской оглядел избу. Славко продолжал свой рев упорно и планомерно, словно дал подписку реветь до самой весны. С потолка, оклеенного газетами, глядели аншлаги и шапки, набранные чрезвычайным шрифтом, пол был не метен. На стенке ехидно тикали часы, приводимые в движение не столько гирей в виде еловой шишки, сколько привязанным к ней старинным амбарным замком. Рядом с часами висела фанерка — самодельное объявление «не курить, не сорить», причем крупно нарисованная частица «не» была общей для обоих глаголов и стояла впереди них.

Положение было глупым до крайности, но меня неожиданно выручила Евдокия — пожилая Авинерова соседка. Она специально, говоря ее языком, натодельно, пришла глядеть Авинерову дочь Анфею, приехавшую с ребен-

ком в отпуск. Однако Анфея, как выяснилось, вместе с мальчишкой и матерью ушла к родственникам в другую деревню, и заход у Евдокии вышел пустой. По этой причине Евдокия долго охала и сказала, что придет еще. Уходя, она подошла к печи, где сидел и ревел внук Авинера. Оказывается, ревел он еще со вчерашнего из-за того, что его не взяли в гости.

— Славко, ты все плачешь? — Евдокия всплеснула руками. — Утром была — ревел, и сейчас пришла — ревишь. Разве ладно? Отдохни, батюшко.

На печке затихло. Славко словно рад был, что его остановили. Он нерешительно вздохнул:

— Я, бауска, отдохну.

— Вот, вот, батюшко, отдохни, — ласково сказала Евдокия.

— А потом иссо буду.

— Потом еще поревишь, а сейчас отдохни,— Евдокия постояла, собираясь уйти.

— Ты, Евдокия, не в лавку пошла-то? — спросил Козонков. — Купила бы мне чекушку к чаю.

— Да как не куплю, знамо куплю. Купить не долго.

Авинер Павлович открыл шкаф и поскреб в сахарнице. Достал рубль с мелочью. Тут я догадался, что пришло время действовать, сунул в задний карман два пальца и быстро вытянул трешницу...

Лед был сломан. Евдокия ушла, а мы с Козонковым закурили «Шипку», мне стало както легче дышать, хотя Славко вновь захныкал на печке.

Козонков спросил, где я живу и сколько отпуск. В ответ на мои «двадцать четыре без выходных» Авинер выпустил дым и сказал, что раньше у подрядчика плотничали без всякого отпуска. Потом похвалил сигарету.

— Не думаешь, Авинер Павлович, курить бросать?

— А пошто? — Козонков закашлялся. — Не для того я привыкал, чтобы отставать. Бывало, ежели не куришь да в работу уйдешь, плотничать, дак прямо беда. Мужики сядут курить, а ты работай. Уж не посидишь. Мне вон дочка говорит: ты ведь умрешь от курева-то! А я говорю: умру, так меньше вру. Чего любишь, да от того и отстать, какое дело? Помню, пошли бурлачить, подрядились втроем, я да Степка. — (Я поначалу не мог догадаться, что третий был Олеша Смолин). — По девяносто рублей с благовещенья до Кузьмы. Подрядчик свой, местный, холера. Работать велит и после солнышка. А я один раз сел и говорю, что после солнышка только на дураков работают. Топор за ремень — и пошел в избу. Руки вымыл, нет Степки. Чую, топоры стукают. Ну, думаю, я тебя проучу, работника, ишь выслуживается. У меня был товарищ из местных, такой долбило, все, бывало, кур воровал. Подлезет в сумерки, схватит да как даст, из иной и яйцо выскочит. Вот, был пивной праздник, надо гулять идти. А в части харчей худо было, хозяйка скупая, все ножик под стол совала, чтобы мы, значит, меньше ели. Я, помню, еще до праздника слышу — ходит она на повети. Вот и говорю: «А что, ребята, стоит только топору влепиться — и скотина в доме не будет копиться!» Знаю, что

слышала, только все равно кормит худо. Был, значит, у ее поросенок. Ушла один раз на работу и попросила меня, чтобы этого поросенка накормить. Я пойло на землю вылил, а в хлев-то зашел с хорошим колом. До того я довозил этого поросенка, он от меня на стены начал кидаться. Приходит хозяйка. «Покормил, Авинер, животинку-то?» — «Добро, говорю, поел». Вечером она пошла в хлев, а поросенок-то от нее на стены. Я говорю: это, наверно, у его бешенство, надо колоть. Поохала, да пришлось резать. До того были шти хорошие...

Вскоре пришла Евдокия с поклажей. Козонков выставил на стол свои «шти», которым было весьма далеко до тех, хозяйкиных. Евдокия ушла из скромности, а Козонков позвал Славка обедать. Славко слез, но реветь не перестал. Тогда Авинер налил в чашку сколько-то водки и подал мальчишке. Славко перестал реветь и потянулся ручонкой, чтобы чокнуться. В другой ручонке была зажата конфета...

Козонков строго пригрозил внуку:

— Не все сразу!

Я пытался протестовать: мальчишке было всего шесть или семь. Но Козонков даже не повел ухом и принял протест, как шутку. Я чокнулся с обоими... Славко глотнул, судорожно дернулся, лицо его исказилось, но водку он все же удержал внутри и с радостным испугом поглядел сперва на деда, потом на меня.

Слезы ручьями потекли из глаз мальчишки, но он улыбался с восторгом победителя. Я, плохо соображая, продолжал слушать Авинера...

8

— Вот, значит, пивной праздник. Похлебали мы моих штей, а я взял, да и сунул в карман точильный брусок. Олеха гулять не пошел, а мы со Степкой. Пошли, вышли в поле. Я брусок-то вынул да как дал в затылок Степке-то, сбил с ног, да и давай молотить. Дак он, чудак, еле из-под меня вывернулся, соскочил да бежать. На другой день прихожу на работу, мне подрядчик говорит: иди куда хошь, мне таких боевых не надо. Куда деваться?

Ладно. Подрядились мы со Смолиным к купцу, церкву он ладил. Неделю-полторы пожили, бревна на церкву тешем. Один раз пошли гулять к девкам. А денег нету, только полтинник. Я говорю: «Дай, Олеха, полтинник-то, я хоть вон девкам конфет куплю». Он пошел, а я говорю: «Иди, я догоню», — сам захожу в лавочку. Уж темно стало. В лавочке лампа горит, никого нету. Я, чудак, что делаю? Я постоял, постоял, да — раз с прилавка штуку ситца. Под полу этот ситец запехал. Потом взял гирю, да и давай колотить о прилавок-то. «Есть, кричу, тут кто?» Выбежал хозяин-то, я ему и говорю: «Вот зашел, а в лавке нет никого». — «Ох, говорит, спасибо, приказчик в гости ушел, лавку не запер. Ведь меня бы, говорит, обчистили, хоть ты, парень, меня выручил. Чего тебе за это, спрашивай сам». Я говорю: «Мне бы маленькую да папирос, ну еще конфет каких, для праздника». Он мне две маленьких, папирос три пачки да еще полтора фунта конфет наворотил. «Ой,

говорит, тебе спасибо, ведь меня бы могли обчистить!»

...Козонков успевал наливать в стопки и беспрестанно курил. Тем временем зажегся свет, включили электростанцию.

— Не сделал лампочку Ильича-то? — спросил Авинер. — Вон у нас так шесть лампочек, и на сарае горит, и в хлеву.

Козонков выпил и продолжал рассказывать:

— Ну, я из лавочки вышел да бегом. Олешу догоняю, гляди, говорю, какая депутация. Он и глазам не верит. Сели на канаву. «Пей»,— говорю. Он не пьет. «Верни, говорит, все обратно». А для чего дано, чтобы обратно нести? Ну, выпил. А я ему из-под полы еще и штуку показываю. Он перепугался, я ему еще налил. Тут шла телеграфная линия. Я говорю, давай смеряем, хватит ли не хватит от столба до столба. Давай мерить. Скрутили. Я и говорю: «Придем в деревню, я пьяным прикинусь, а ты меня ругай, вот, мол, дурак, все деньги ухлопал, для чего штуку купил? Недоглядели мы, что когда штуку мерили, ехал кто-то на тарантасе. На другой день — раз, урядник! И пошло следствие. Олешу моего таскают, а я ночевал тайно в сеновале. Ему, дураку, нет бы струментик собрать да уйти потихоньку. А я думаю: нет, голубчики. Ночевал в сеновале, что делать? Денег нету. А церкву как раз только заложили. Я ночью колышком бревна-то отворотил, да все деньги, какие под углы-то были накладены, и собрал. И по рублю было, и по полтиннику, насчитал — семь рублей с копейками, а билет на паровоз стоит шесть рублей. На другой день приехал купец. Углы-то у за-

клада проверили — нет денег. Вижу, опять кладут. Ну, думаю, хорошо как, это мне на харчи. Только стемнялось — я к церкви. Хотел колышком бревно-то отворотить, а мне как хрястнут по спине, так у меня и в глазах круги. Сторожей, вишь, поставили. Еле успел отскочить да через канаву, да за гумно в неизвестном направлении. Свист, крик сзади, а я бегом да на станцию, ночи были темные. И топор с котомкой на квартере оставил, уехал домой.

...Козонков кинул окурок на пол и налил еще. Выпил уверенно, словно в награду за тот удачный ночной побег.

— Спина, правда, долго болела, стукнули чем-то березовым.

— Березовым?

— То ли коромысло, то ли еще что. Приехал домой, денег ни копеечки не привез, сказал матке, что обокрали в дороге.

...Я взглянул на старика: говорить об Олеше уже не было смысла. Козонков был пьяный и рассказывал про свою молодость. Я молча слушал, дивясь его памяти, а он выпил опять и вдруг надтреснутым, старчески тоскливым голосом затянул песню. Он пел печально про то, как по винтику, по кирпичику растащили целый завод, как товарищ Семен встречался с невестой «где кирпич образует проход», и как потом снова собирали завод по винтику. Как раз в это время и вернулись из гостей Авинерова старуха и дочь Анфея с ребенком. Козонков не обратил на их приход никакого внимания. «Стал директором, управляющим, на заводе товарищ Сёмен», — пел он, клоня сухую седую голову.

— Сам-то ты Семен, вишь, нахлебался опять и лыка не вяжет, — сказала Авинерова старуха.

— А кто хозяин в доме — я или курицы? — Козонков сделал попытку стукнуть по столу кулаком.

...Анфея была чуть постарше меня. Помню, как она приезжала с лесозаготовок и ходила на игрища вместе с Олешиной дочкой Густей. Сейчас она жеманно поздоровалась и ушла за перегородку. Мальчишка, ее сын, с ходу, не раздеваясь, начал сосредоточенно возиться с каким-то колесом. Он не глядел ни на кого. Подошел к столу и, никого не спросясь, взял две конфеты. Анфея вышла из-за перегородки уже не в валенках, а в туфлях и в капроне. Мальчишка фамильярно дернул ее за руку, басом спросил:

— Мам, а клопы летают?

— А ну, атступись! — отмахнулась Анфея, но мальчишка и сам уже забыл про свой вопрос. Она, видно было, усиленно стремилась говорить по-московски, на «а», однако изредка из нее прорывалась родная стихия. Один раз она назвала стакан стоканом.

Времени было уже много, и Козонков спал, уткнувшись головой в стол. Потухший окурок торчал меж тонких, не по-крестьянски белых пальцев. Я попрощался и пошел домой.

9

Наутро Олеша на баню не явился. Вот черт, старый колдун! Обиделся за то, что я сделал визит к Авинеру. Конечно,

это Евдокия постаралась еще вчера, и вся деревня узнала о моей встрече с Авинером. Олеше доложили все подробности. Сельская, так сказать, принципиальность...

Почему-то мне стало весело.

Теперь, после недельного затворничества, в холостяцкой свой юдоли, я знал, что посуду лучше мыть сразу после еды, а выметать сор из избы удобнее, когда пылает русская печь. Потому, что пыль вытягивается в трубу. Правда, как раз когда топишь печь, хлопоча со всяким хозяйством, как раз тогда и набирается в избу еще больше всякого сору, который снаружи пристает к ногам, а в избе обязательно отваливается. Все же посуду мыть лучше сразу... Поэтому, чтобы не затягивать конфликт, я двинулся устанавливать отношения с Олешей.

Смолин поздоровался как ни в чем не бывало. Старик вслух читал вчерашнюю газету. Он отложил чтение и положил очки в допотопный футляр.

— Бог ты мой, иной раз задумаешься, даже дух заходится...

— ?

— ...а сколько на земле должностей всяких. Начальники, счетоводы, заместители, заведующие. Плотники. Где государство и денег берет?

— А толку нет, так в няньки иди,— смачно сказала Настасья. Она сидела довольно близко и сбивала мутовкой сметану.— Люди вон учатся по пятнадцать годов, читают все заподряд. Думаешь, легко голове-то?

— Читака...— Олеша даже отодвинулся.— Разве я про то говорю?

— А про чего?

Но Олеша не удостоил жену ответом. Словно сожалея, что дал себя втянуть в пустой разговор, он обратился ко мне:

— Вот, друг мой, на баню я больше не ходок.

— Почему?

— А вишь, приказ из конторы вышел, надо ветошный корм идти рубить. Сегодня бригадир зашел, вот хохочет. Все, говорит, дедко, хватит тебе халтуру сшибать, иди в лес. — «Что, говорю, уж донеслось?» — «Донеслось», — говорит. А сам вот хохочет. «Во, говорит, какая депеша поступила».

— Какая депеша? — я ничего не понимал.

— Депеша и депеша. На гербовой бумаге. Есть писаря в нашей деревне...

— Козонков, что ли?

Тут только я начал соображать, а Олеша беззвучно трясся на лавке Не поймешь, то ли кашлял, то ли смеялся.

— Все, друг мой, по пунктам расписано.

Я не знал, что делать, и только моргал.

— А где бригадир?

— Да он на конюшню ушел только что. Беги, беги. Я схожу в лес часа на два. После обеда приду плотничать.

Олеша, кряхтя и охая, начал обуваться. Я побежал искать бригадира.

С бригадиром мы вместе учились до третьего класса. Вместе зорили галочьи гнезда и гоняли по деревне «попа», вместе прожигали штаны у осенних костров, когда пекли картошку. Потом он отстал от школы, а я кончил семилетку и подался из деревни, наши пути разошлись в разные стороны.

Еще издали я услышал звуки добродушного мата:

— Но, но, стой, как велено!

Бригадир широкой Олешиной стамеской обрубал коню копыта. Лошадь вздрагивала, испуганно кося большим, по цвету радужно-фиолетовым, словно хороший фотообъектив, глазом. Бригадир поздоровался так, что будто только вчера потух наш последний костер. Я хоть и был немного этим разочарован, но тоже не стал делать из встречи события.

— Дай помогу.

— Да не! Уже все. Отрастил копыта, будто галоши. Что, Крыско, легче стало?

— Это что, Крыско?

— Ну!

Крыско я хорошо запомнил. По тому случаю, когда однажды мерин хитрым движением легко освободился от моей, тогда еще вовсе незначительной, тяжести и, не торопясь, удалился, а я, корчась от боли, катался на прибрежных камнях. Я улыбнулся тому, что сейчас во мне на секунду шевельнулось чувство неотмщенной обиды. Положил руку на горбатую лошадиную морду. Конь с благодарной доверчивостью глубоко и покойно всхрапнул, прислонился к плечу широкой длинной косицей нижней челюсти.

— Ну что, как живешь-то? — веселый бригадир взял сигарету. — Ребятишек-то много накопил?

В голосе бригадира чуялись те же интонации, с которыми он обращался к лошади, спрашивая Крыска, легче ли ему стало, когда обрубили копыта.

— Да как сказать... Дочка есть.

— Бракодел. Долго ли у нас поживешь?

— Двадцать четыре. Без выходных.

Бригадир слушал почтительно и искренне-заинтересованно, и на меня вдруг напала отрадная словоохотливость. Я не заметил даже, как выложил все, что знал сам про себя. Собеседник, начав с количества и качества наследников, спросил, где и кем я работаю, какая квартира и есть ли теща, торгуют ли в городе резиновыми броднями и будет ли в ближайшее время война. На последний вопрос я не мог ответить. Что касается всех остальных, то рассказал все подробно. Сверстник не остался в долгу. Он говорил, что сегодня будет бригадное собрание, что в бригадиры его поставили насильно, что работать в колхозе некому, все разъехались, осталось одно старье; потом рассказал о том, как ловил с осени рыбу и простудился и как заболел двусторонним воспалением легких. Почему-то бригадир с особым удовольствием несколько раз произнес слово «двусторонним».

Крыско терпеливо дремал, дожидаясь, когда кончится разговор и когда понадобится что-то делать. Наконец я спросил насчет ремонта бани и той депеши, что пришла в контору по поводу Олеши. Бригадир засмеялся и махнул рукой, имея в виду Козонкова.

— А ну его! Он вон про магазин каждую неделю строчит жалобу. Привык писать с малолетства. Тут вот другое — конюха не могу найти. Иди ко мне в конюхи?

— Евдокия ж конюх.

— Да у ей грыжа.

— Ну, а старики? Олеша как, Козонков?

— К старикам теперь не подступишься, все на пенсии. Каждый месяц огребают. Нет, Козонков не пойдет, а Олеша — сторож на ферме.

— Так ты чего, сам и за конюха?

— Сам. — Бригадир завел Крыска в стойло. — Знаешь чего, давай объездим вон Шатуна? Я уж его разок запрягал.

В мои планы не входило объезжать лошадей. И все же я почему-то обрадовался предложению.

Шатун оказался здоровенным звериной трех лет от роду. Он обитал в крайнем стойле и, видимо, сразу почувствовал недоброе, потому что уж очень нервно вздрагивали его ноздри. Яблоки диких глаз неподвижно белели за ограждением.

Бригадир увел Крыска на место. Приготовил оброть, пропустил в кольца удил толстый аркан. Потом подволок новые дровни оглоблями к стене конюшни, снял брючный ремень и припас еловую палочку. Положил в карман.

— А это зачем?

— Губу крутить.

У меня слегка захолонуло под ложечкой, но отступать было некуда. Бригадир осторожно начал открывать дверцу, держа наготове оброть, начал подбираться к жеребцу и вкрадчиво, тихо уговаривать его:

— Шатун, ну что ты, Шатун, Шатунчик... У, б..., Шатунище!

Бригадир с матюгом выскочил из стойла, так как жеребец повернулся к нему задом. Дальше все началось сначала и кончилось тем же. Я с волнением следил за ними. В третий

раз бригадир начал подкрадываться к жеребцу. Стойло было тесное, конь не успел увернуться, и бригадир накинул на него оброть, молниеносно окинул ремнем жеребячьи косицы. Лошадь встрепенулась, задрала могучую голову, но было уже поздно: кляцнуло о зубы железо. Бригадир вывел коня в коридор конюшни. Жеребец вздрагивал мышцами, тревожно всхрапывал и прял ушами, готовый в одну минуту сокрушить все на свете. Бригадир ласково, словно ребенка, уговаривал жеребца, трепал его по плечу, пока тот не перестал мерцать кровяным глазом.

— Теперь наш!

Однако «наш» не торопился добровольно идти в оглобли. С великим трудом, подпрыгивая и изворачиваясь, мы надели на жеребца хомут, а когда я заправлял под хвост шлею, то почувствовал, что от страха на лбу выступила испарина. Мне показалось странным, что жеребец ни разу почему-то не дал леща копытом, не отпихнул мощным задом и даже не мотнул по лицу хвостом! Надели седелку, застегнули подпругу. Жеребец дрожал всем телом, но я не мог поверить, что боялся он именно нас с бригадиром.

Наконец завели зверя в оглобли. Шатун стоял грудью в стену, и теперь стал понятен бригадирский маневр: просто жеребцу некуда было податься и дровни бы пятились вместе с лошадью. Но вот когда надо было стягивать клещевины хомута супонью, Шатун вдруг попятился, захрапел и так вскинул голову, что бригадир на секунду повис в воздухе. Он заматерился, закусил губу, и я вдруг заметил у него в глазах то же, что у коня, тоскливо-

дикое выражение, но рассуждать было некогда. Он подскочил и схватился за узду, что было сил потянул морду жеребца, выбрал момент и вновь накинул гуж на оконечность дуги, приладился стянуть хомут. И опять Шатун мощно рванулся: мы, как снопы, отлетели в сторону. Я, однако, не выпустил повод, и жеребца опять водворили в оглобли.

— Ну, сука! — просипел бригадир и вытащил из кармана свой брючный ремень. — Держи!

Я изо всех сил ухватился за подуздцы. Бригадир сделал из ремня петлю, просунул в нее нижнюю, мягкую, большую губу коня. Вынул из кармана палочку и начал ею закручивать ремень с зажатой в нем лошадиной губой. Жеребец весь, как бы самим своим нутром, задрожал и осел, храп его осекся, и глаза закатились, выворачиваясь наизнанку. Я всеми зубами и корнями волос словно и сам ощутил дикую лошадиную боль. В какой-то момент шевельнулась ненависть к бригадиру, который медленно, с искаженным лицом делал уже второй поворот закрутки.

— Крути! — прошипел бригадир. — Крути же, безмозглый черт, ну?

Я взял закрутку и сделал четверть оборота... Жеребец, оседая назад, ронял розовую кровавую пену, и я сделал еще четверть, ощущая всесветную боль, отчаяние и печальную дрожь животного. Бригадир быстро стянул хомут, молниеносно привязал к удилам вожжи и заорал, чтобы я быстрее прыгал на дровни. Я бросился на дровни, оглобля затрещала, жеребец метнулся вправо и понес, а бригадир не успел прыгнуть, и его на вожжах по-

волокло по снегу. На секунду жеребец, словно в недоумении от всего случившегося, замер в глубоком снегу. Этой короткой паузы бригадиру хватило, чтобы подскочить к дровням. Он плюхнулся прямо на меня, и мы понеслись вцелок, по снегам, ломая изгороди, давая свободу всей подстегнутой ужасом и болью энергии могучего бедного Шатуна. Теперь у меня было какое-то странное первобытное чувство безрассудства и самоуверенности — след от только что посетившей жестокости. Лишь потом задним числом накатилось недоуменное в чем-то разочарование, похожее на то, что испытываешь, поднимаясь по темной лестнице, когда заносишь ногу на очередную ступень, а ступени нет — и нога на мгновение замирает в мертвом пространстве.

Уже через полчаса до предела измученный Шатун ткнулся окровавленной мордой в жесткий мартовский снег. От жеребца валил пар; в мыльной пене промеж мощных ножищ он неподвижно лежал в глубоком снегу.

— Ну, теперь на большую дорогу, — сказал бригадир весело и продернул ремень в свои полосатые штаны. — Побежит, как миленький. Не поедешь со мной в контору?

— Нет, не поеду.

Я не стал дожидаться выезда на большую дорогу и через огороды, по пояс проваливаясь в снег, вышел к деревне.

10

Олеша сдержал слово: после обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стукали топорами. Погода за пол-

день потеплела. Солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг.

— Не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох, — сказал старик, вытесывая клин.

Из новых Олешиных бревен мы уже вырубили один ряд. И вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авинер про свою женитьбу.

Козонков про женитьбу не рассказывал.

— А что?

— Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю: давай запряжем мои сани. Нет, заупрямился, запряг свои розвальни. Приехали, бутылку на стол, так и так, дело сурьезное. Деревня за десять верст. Невеста за перегородку ушла, а отец у ее и говорит: «Подождите, ребята, я вашей лошади овса сыпну, а потом уж и будем о деле судить-рядить». Винька в избе остался, а я тоже вышел на улицу, думаю, как там лошадь-то. Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал, да и глядит на завертки. Одну поглядел, другую, «Чьи, говорит, розвальни-то, твои, парень, аль жениховы?» Я не знаю, чего и сказать. Сказать, что мои, подумают, что жених в чужих розвальнях приехал, да и врать вроде нехорошо. «Жениховы», — говорю. Зашли в избу, невестин отец и говорит Козонкову. «Нет, парень, пожалуй, нам не сговориться. Не отдам я тебе дочку».— «Что же, почему»? — Козонков спрашивает. «А вот, — это невестин отец, — вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка-то, говорит, у меня ядреная, а у тебя завертки веревочные...»

— Так и уехали?

— Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись.

Я осмелел и спросил у Олеши, как женился он сам и вообще была ли у него в жизни любовь. Олеша, поворачивая бревно, отозвался:

— Любовь-та?

— Да.

— А как же. Была у меня и любовь, и корешковые сани были. Чтобы о масленице ее катать. Только она, моя любовь-то, за Печору от меня укатила.

— Что, сама уехала?

— Как тебе сказать... Пожалуй, не больно сама. И насчет масленицы — дело десятое оказалось.

И вдруг Олеша оживился, воткнул топор:

— Ты Ярыку-то помнишь? Здоровый был мужик, изо всего лесу. Он мне, бывало, говаривал: «Ты Олешка, девок только не бойся. Будешь девок бояться — ничего путного из тебя не получится. Наступай, говорит, с первого разу. Она пищать будет, заверещит, а ты вниманья не обращай. Пожалеешь — пропало все дело, эта уж не твоя. Омманывать, говорит, не омманывай — это дело худое, любой девке уваженье требуется. А и назавтра не оставляй». Я, бывало, слушаю, а сам краснею, и стыдно, и послушать охота. Только слушать одно, а на практике другое, практика эта мне не давалась... Помню, ходил в бурлаки. Зимогорить не остался, пришел из работы через девять недель. Деньжонок отцу принес да себе кумачу на рубаху. Иду домой, сердчишко воробьем скачет, скоро на гулянку явлюсь. Таньку увижу. А какая Танька у Федуленка

была? Уж я тебе скажу... Помню, еще маленькие ходили в мох по ягоды. И Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не насбирали. Только гнездо нашли да по клюшке выломали. А Танька той порой знай собирает, набрусила корзинку будто шуткой. Домой пошли, Винька меня и подговаривает: давай ягоды у ее отымем да съедим. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает. Танька в рев. Винька хохочет филином, ягоды отнимает, а мне хоть и жалко Таньку, все равно — в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели, больше в траве рассыпали, и до того мне ее жалко стало... Таньку-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная, идет да ручонкой слезы размазывает. А Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Вине в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в евонной компании? С этой поры Танька мне больше всего и запомнилась, а когда у бани подглядывал, это уж дело новое.

Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама как ягода. Выросла за одно лето, откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса. Уши белые. Глаза у ее были, я тебе скажу,— не глаза, а два омутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя, и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легонькая: глядишь, и не знаешь, то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается. И никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой,

неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать-вышивать, плести кружева. На белый свет будто вытаяла... Косить, бывало, пойдет либо суслоны жать, не идет — птахой летит, что с поля, что в поле. А песни эти дак у нее сами так и сыпались, ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку прядет... Да, это... Значит, пришел я из работы. На гулянку не иду, жду, когда матка рубаху сошьет. На второй день рубаха сметана, на третий пуговицы осталось пришить. Округ матки, как поп округ аналою... Вот, помню, успеньев день, пошел в гости к божату[1] в Огарково. Иду, ног под собою не чую, только цветки тросткой сшибаю. До деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст, чую: в Огаркове уже гуляют вовсю, гармонь играет, девки за гармоньей по улице идут, поют. Федуленок тоже с моим божатом гостился, знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел задами, подошел к божатову взъезду. Руки-ноги будто отнялись, а сердце в грудине готово ребро выломать, вот стукает на весь белый свет.

Ну, смелости насобирал, захожу в избу. Там уж пляска идет. Смотрю — Танька тоже на кругу. Как глянул... Мать честная, умирать буду, тот момент вспомню! Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый. Идет по кругу, ноги в полусапожках; меня будто и не заметила. А божатушка уж ко мне бежит за стол усаживать, божат пиво из ендовы нали-

[1] Божат, божатка — крестный, крестная; вообще родственники.

вает. Застолье роем гудит, гармонья играет, бабы пляшут. Поздоровался, взял стакан с пивом. «С праздником, говорю, гости хозяйские». Пью, а сам чую, как Танька поет: «Веселее бы попела, кабы дроля поиграл. Терпеливый ягодиночка, завлек и не бывал». Эх!.. А играл-то Федуленок, еённый отец, худенько играл. Мне до того охота гармонью в руки, что не могу. А надо посидеть, гостей с хозяевами уважить. Ну, налили первую рюмку, дождался второй рядовой, а бабы пляшут кружком, все вместе, Танька...

Весь вечер я, как в огне, сам себя не помню, не помню, как на улицу с гармоньей ходили, как плясал — не помню. Она меня нет-нет да и обожгет глазами. Провалиться на этом месте, один этот момент и был за всю жизнь, больше такого и не бывало. Как погляжу на нее, будто меня ошпарит чем, ноги плясать просятся, а горло будто... хм.

Олеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковских глаз, он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Я терпеливо ждал продолжения рассказа. Но старый плотник молчал, словно споткнувшись на чем-то, и лицо его было совершенно непроницаемо. Я кашлянул, шумно полез в карман за куревом. Но Олеша молчал. Вдруг он резво и озорно воткнул топор в бревно.

— Вот ты — парень грамотный.

Я пожал плечами.

— Скажи мне вот что...

— Что?

— Как делу быть? Иной раз думаешь, ладно сделал. Добром к человеку,

— Ну?

— А потом ты же и виноват. Как тут пословицу не вспомнишь: не делай людям добра — ругать не будут.

Я выразил недоверие к этой пословице. Но Олеша не слушал. Он глядел куда-то за горизонт, и я опять осторожно спросил:

— Ну так как...

— Что?

— Да, тогда, в успеньев-то день...

— А-а, что... Дело-то, вишь, давнее. Ну, это... Божатка моя мне на сено постелила, а Винька Козонков пьяным притворился. Он тоже в этом дому объявился, поднесли ему, он и давай куражиться. Сунулся на повети — чую, спит. А девки под пологом вот форскают. Я лежу, думаю, идти к им под полог али нет? И боюсь, и смелости не хватает. «Девки, кричу, а что, я ежели к вам?» Оне мне шумят, вот, мол, у нас тут коромысло рябиновое. Я говорю: «Что мне коромысло, можете и огреть разок, только под полог пустите». Откуда что взялось. Я — к ним. Моя двоюродная была догадливая... Шмыгнула с повети... «Забыла, говорит, самовар закрыть, вон гроза поднимается». Шасть двоюродная в избу. И не идет. А весь дом спит, божат с божаткой в зимней избе, гости все кто где — кто в летней избе на лавках, кто на полати уволокся, а на повети одни мы с Танькой. Да еще Винька на сене храпит в обе ноздри. Я к Таньке, понимаешь, подсел, коленки от страху трясутся. «Тань, а Тань?» — говорю, а сам рукой поверх одеяла-то. Молчит. «Вишь, говорю, мне без тебя не жизнь. Давай будем гулять по-хорошему, на руках бу-

ду носить... Да, взял ее за локоть,— молчит. А сам весь от страху дрожу, хуже всякой войны. Обнять только приноровился, а она мне: «Что ты, говорит, Олешка, не надо. Чуешь, говорит, не трогай меня. Уходи, говорит, стыд-то какой, вон двери скрипнули, чуешь, уходи...» Ох, дурак я, дурак, встал да ушел на улицу, там еще чья-то гармонья играла. Проплясался уж под утро, захожу на поветь-то, а там слышу Винька под пологом мою Таньку жамкает, чую, вот целуются... Я в избу, схватил графин, гляжу — графин-то пустой. А двоюродная моя корову собралась доить. «Чего, говорит, Олеша, прозевал-то? Эх ты, недопека!» Захохотала, дойник на руку — да на двор. Оглянулась в дверях-то, да и говорит: «А мне Танька тебя велела найти. Только где тебя искать? Убежал на улицу, будто век не плясывал. Так и надо тебе, дураку!» Еще и язык показала двоюродная-то, дверями хлопнула. Тут гости запросыпались, зашевелились, а я, как неумный, с праздника убежал домой.

...Вскоре мы вырубили еще один ряд. Солнце, скатываясь на горизонт, светило спокойно и ярко; я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло.

— Что, припекает красавка-то?— улыбнулся Олеша.

Он тоже снял шапку, и его младенчески непорочная лысина забелела на солнце. Как раз в эту минуту издалека долетел до бани рокоток автомобиля. Мы подождали машину, не сговариваясь: дорога проходила в пятнадцати метрах от бани. Олеша с любопытством

глядел на приближающийся грузовик, стараясь узнать, кто, зачем и куда едут. Машина затормозила. Разбойная курносая харя, увенчанная ушастой шапкой, выглянула из кабины.

— Дедушко, а дедушко?— окликнул шофер.

— Что, милок?— охотно отозвался Олеша.

— А долго живешь!— Шофер оголил зубы, дверца хлопнула.

Машина, по-звериному рыкнув, покатила дальше. Я был взбешен таким юмором. Схватил голыш от каменки и запустил шоферу вдогон, но машина была далеко. А старик еще больше удивил меня. Он восхищенно глядел вслед машине и приговаривал, улыбаясь:

— Ну, пес, от молодец, сразу видно — нездешний.

Я ушел домой, не попрощавшись со стариком. А, наплевать мне на вас. Черт знает, что творится. Мне нет до вас дела! Весь остаток дня ходил злой, словно оставленный в деревне козел, когда все стадо до самой последней старой козы на пастбище, а он, этот козел, один на один с пустой и жаркой деревенькой.

— Наплевать!— вслух, по слогам повторял я и злился, сам не зная на что и на кого.

11

Впервые за это время настроение по-настоящему свихнулось. Я не стал даже ужинать. Залез на печь и, лежа в темноте, слушал кондовую тишину своего

старого дома. Вскоре я разобрался в том, что злился на Олешу, злился за то, что тот ни капли не разозлился на остолопа — шофера. А когда я понял это, то разозлился еще больше, уже неизвестно на кого, и было как-то неловко, противно на душе. И когда Олеша пришел меня навестить, я вдруг ощутил, что давно когда-то испытывал такое же чувство неловкости, противной сердечной тошноты от самого себя, от всего окружающего.

Да, конечно. Со мной уже было что-то подобное. Давно-давно, когда я только что пошел в школу. Помнится, бабка налупила меня за то, что я катался по первому тонкому речному льду и провалился в воду. Она отвозила меня и турнула на печь, а я плакал не столько от боли, сколько от оскорбления, Лежал на печи без штанов и плакал. Позднее меня на печке пригрело, я разомлел и начал задремывать, но сопротивлялся и не хотел забывать обиду, и чтобы злость не исчезла, все вспоминал бабкины шлепки, оживляя затихавшую горечь.

Вечером меня позвали ужинать, и я не слез, мысленно объявил голодовку, но меня не стали особо уговаривать, и от этого обида на весь мир стала еще острее. Я лежал и думал, что никто меня не жалеет, представлял, как убегу из дома и как заблужусь где-нибудь в лесу, как меня будут искать всей деревней и как не найдут три дня и три ночи. Бабка же безжалостно разоблачала меня внизу: «Вишь, дьяволенок, лежит. Лежит и думает: я вас выучу, ни пить, ни есть не буду». Мне втайне от самого себя хотелось, чтобы еще раз позвали ужинать, но никто не

звал, и я плакал, жалея себя и представляя, как меня будут искать в лесу. Помнится, я так и не слез с печки, пока не пришла с работы мать и не приласкала. Я слез, разревелся еще раз и медленно, долго успокаивался. Мир и все окружающее снова встали на свое обычное место, но бабку я так и не смог простить до самой ее смерти.

Сейчас, вспомнив тот случай, я снова повеселел. Надел валенки, спрыгнул с печки. Оделся, сунул коромысло в скобу ворот и пошел на бригадное собрание, о котором еще днем проговорился бригадир.

Собрание бригадир проводил у себя на дому, а дом его маячил на другом конце поредевшей деревни, напоминая собою хутор и картинно дымя трубою. Я не торопясь, с каким-то холодком под левой лопаткой вышагивал по деревне. Было тихо, светло, и чуть примораживало. В небе стояла круглолицая луна, от ее света ничто не могло спрятаться. Мерцали над деревней синие, будто обсосанные леденцы, звезды. Тишина стояла полнейшая.

Вдруг Авинеров пес, который сидел на дороге и жмурился, спокойно и мощно облаял меня. У поленницы, уже не интересуясь мною, он задержался на полсекунды, задумчиво поднял заднюю ногу. И удалился с чувством исполненного долга. Я знал, что пес отступился только благодаря моему внешнему равнодушию: среагируй как-либо на его возглас, он бы показал кузькину мать. Но его сиплого и жуткого «аув-аув!» было достаточно, чтобы сразу во всех домах и поветях, из-под всех крылечек и рундуков сказа-

лась добрая дюжина самых разнообразных голосов. Они заливались вдохновенно и отовсюду, некоторые с искренним пафосом. Другие лаяли из чувства подражания, а третьи — сами не зная зачем, вероятно, просто от скуки жизни. Первым появился на пути колоритный субъект, получившийся от смешения легавой и какой-то декоративной собачки, имеющей чисто прикладное значение породы. Это был Олешин Сутрапьян, он взлаял разок и тут же притих. Сутрапьян убежал, но явилась маленькая, тонконогая, принадлежавшая Евдокии Минутка. Я не был знаком с нею накоротке, и она так смело приступилась ко мне, что я поневоле попятился задом, а она, видя мою слабость, быстро наглела и вскоре цапнула за валенок. Агрессивность ее никак не соответствовала размерам тщедушного туловища. Дальше, благоразумно соблюдая безопасное расстояние, вовсю разорялся кривоногий бригадиров Каштан, у которого чувства менялись быстро и независимо от него. Вслед за Каштаном беспрерывно, с провизгом лаяла чья-то почти карманных размеров собачка, причем передняя ее часть извергала самую натуральную хулу, а задняя при помощи виляющего хвоста изображала преданную услужливость. Просто удивительно, как могло одно туловище одной собачки совмещать такие полярные чувства: перед изрыгал ярость, а зад юлил от умильного подобострастия и искренней готовности броситься за тебя в огонь и воду. «Ну, прохиндеи!» — я совсем растерялся, стоя посередь улицы.

— Что вы, лешие! Что вы, рогатые сото-

ны!— Евдокия, шедшая на собрание, выпустила меня из собачьего плена.-- Вишь, вас развелось, как бисеру. Хоть бы волки разок прошли да поубивали вашего брата! Как собаки, ей-богу, как собаки, мужику и проходу нет!

По простоте душевной, а может, от привычки к животным Евдокия забыла даже, что речь идет действительно о собаках, и, обзывая собак собаками, окончательно наладила настроение. То, что она так по-братски назвала меня «мужиком», даже как-то ободрило,— опять чувствуя себя здешним, я с волнением сбил снег с валенок и вслед за Евдокией вошел в бригадирский дом.

В избе было человек пятнадцать, не считая двух-трех младенцев, самых свежих моих земляков. Периодами они давали о себе знать громким криком либо не менее громким ревом, который, впрочем, общими бабьими усилиями тотчас же пресекался.

Я не стал проходить вперед, а уселся на пороге в прихожей части бригадирской избы. В этой части скопились ходячие ребятишки, а рядом, на пороге, сидел кузнец Петя и курил. Изредка он шевелил кочергой в печке, потом снова садился на порог. Сюда же одна за другой собрались и собачки, но здесь они вели себя совсем не по-уличному. Минутка, к примеру, в помещении оказалась ласковым, безобидным существом.

Теперь можно было послушать, что говорят, но Петя-кузнец спросил, велик ли у меня отпуск. Я сказал и в свою очередь спросил, о чем собрание.

— Одне фразы!— Петя махнул рукой и спросил, ловлю ли я рыбу. Тем же громким

шепотом я сказал, что рыбу не ловлю, и слегка огляделся.

Пивной котел, наполненный скотинной водой, чернел рядом, дальше лежал свернутый соломенный матрас, а вправо на топящейся лежанке сидела бригадирова бабка. Она то и дело гладила по белой головке свою маленькую правнучку и приговаривала:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка одна такая на свете.

Посидев и послушав, но, вероятно, ничего не поняв из-за глухоты, бабка опять гладила девочку по голове и приговаривала, какая у нее пригожая Танюшка.

Между тем там на свету выбирали президиум.

— Так кого?— в третий раз спрашивал бригадир собравшихся.

Но никто не внес ни одного предложения. Вдруг кузнец Петя прокричал прямо с порога:

— Козонкова в секлетари, а председатель сам будь!

Минутка заурчала от этого громкого возгласа, а в избе послышались голоса женщин:

— И ладно!

— Чего время тянуть?

— Добро и будет, чего еще.

— Все согласны?— спросил бригадир. Он стоял за своим столом, с которого еще не убран был самовар.— Давай, Авинер Павлович, занимай трибуну, вот тебе карандаш, записывай все реплики. Дак, товарищи, вопросов у нас три. Это мой отчет как депутата, второе — выборы конюха. И разное.

Я слегка выглянул за косяк. Бабы сиде-

ли около хозяйки дома, у которой тоже был младенец, и по очереди брали на руки то одного ребенка, то другого. Обстоятельно хвалили каждого и качали на руках, а ребятишки сучили ногами и розовыми губами пускали веселые пузыри. Тут же была и Анфея со своим приезжим сыном, который так заинтересовался рыжим котом, что почувствовал себя, видимо, в зоопарке и просил у матери булку, чтобы покормить животное. Сама Анфея пришла на собрание в туфлях и опять же в капроне. Ее новая черная юбка напрасно пыталась прикрыть толстое, похожее на Олешину лысину колено.

— Товарищи, за отчетный период...— Дальше пошли выражения вроде: «в силу необходимости», «на данное число», «в разрезе графика». После этого бригадир начал зачитывать цифры, но вдруг один из младенцев, а точнее, наследник докладчика, пустил такой зычный, непонятный вопль восторга, что заглушил отца, и все с улыбками обернулись назад. Виновник заминки таращил ясные глазенки и, улыбаясь всем лицом, маршировал узловатыми ножонками на материнских коленях.

— Что, Митенька, ух ты, Митенька!— Бригадир погудел сыну вытянутыми губами. Однако тут же выпрямился.— На данный период, товарищи, неувязка у нас с продукцией молока, а именно: худая и низкая жирность.

— Я тебя остановлю на этом месте,— послышался голос кузнеца Пети.— У тебя чего, собранье-то от колхоза иль от сельпа?

— От парткома,— объяснил Авинер.

— Нет, Авинер Павлович, от сельсовета!— громко поправил бригадир, а бабы, воспользовавшись новой заминкой, заговорили про какую-то ржаную муку.

Бабка, сидя на лежанке, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от звука собственного храпа. Она вновь гладила по голове молчаливую правнучку:

— Танюшка-то у меня дак. Танюшка, золотой робенок.

У дверей упало ведро.

— А ну вас!— Бригадир прихлопнул рукой свои тезисы.— Раз не слушаете, дак сами и проводите.

Но тут Авинер Козонков сделал короткое внушение насчет дисциплины:

— Ежели пришли, дак слушайте, процедурку не нарушайте!— И примирительно добавил:— Сами свое же время портим.

Петя-кузнец выставил за двери часть скопившихся в избе собачонок, говоря, что они «непошто» и пришли и делать тут им нечего». Опять установился порядок, лишь Митя — сын бригадира — все еще ворковал что-то на своем одному ему понятном языке.

— Митрей! Ой, Митрей!— тихо, в последний раз, как бы подводя итог перерыву, сказала Евдокия и пощекотала мальчишке пуп.— Вишь, кортик-то выставил. Скажи, Митя, кортик. Кортик девок портить.

И Евдокия снова стала серьезная.

— Переходим, товарищи, ко второму вопросу,— бригадир стриженную под полубокс голову расчесал адамовым гребнем.— Слово по ему имею тоже я, бригадир. Как вы, товарищи, члены второй бригады, знаете, что

на данный момент наши кони и лошади остались без конюха. Вот и решайте сами. Потому что у прежнего конюха, у Евдокии, болезнь грыжи и работать запретила медицина.

Бригадир сел, и все притихли.

— Некого ставить-то, — глубоко вздохнул кто-то.

Бригадир подмигнул в мою сторону и с лукавой бодростью произнес:

— Я так думаю: давайте... Митя, Митенька... Давайте попросим Авинера Павловича. Человек толковый, семьей не обременен.

— Нет, Авинер Павлович не работник,— твердо сказал Козонков.

— Почему?— спросил бригадир.

— А потому, что здоровье не позволит. На базе нервной системы.

Евдокия сидела молча и опустив голову. Она теребила бахрому своего передника и то и дело вздыхала, стеснялась, что своей грыжей всем наделала канители, и искренне мучилась от этого.

— Ой, Авинер Павлович,— вкрадчиво и несмело заговорила одна из доярок,— вставай на должность-то. Вон Олеша тоже худой здоровьем, а всю зиму на ферму выходил.

— Ты, Кузнецова, с Олешей меня не равняй! Не равняй! Олеша ядренее меня во много раз!— От волнения Авинер потрогал даже бумажки и переложил карандаш на другое место.

Кузнецова не сказала больше ни слова. Но тут вдруг очнулась Настасья и вступилась за своего старика, закричала неожиданно звонко:

— Да это где Олеша ядренее? Вишь,

нашел какого ядреного! Старик вон еле бродит, вишь, какого Олешу ядреного выискал!

Поднялся шум и гвалт, все заговорили, каждый свое и не слушая соседа. Ребятишки заревели. Минутка залаяла, кузнец Петя восторженно крякнул на ухо:

— Ну, теперь пошли пазгать! Бабы вышли на арену борьбы, утороку не найти!

Шум, и правда, стоял такой, что ничего нельзя было понять. Бригадир кричал, что поставит Козонкова в конюхи «в бесспорном порядке», то есть насильно, Козонков же требовал конторских представителей и кричал, что бригадир не имеет права в бесспорном порядке. Настасья все шумела о том, что Олеша у нее худой, и что у Авинера здоровье-то будет почище прежнего: он вон дрова пилит, так чурки ворочает не хуже любого медведя; Евдокия тоже говорила, только говорила про какой-то пропавший чересседельник; доярка Кузнецова шумела, что вторую неделю сама возит корма и что пусть хоть в тюрьму ее садят, а больше за сеном не поедет, мол, это она русским советским языком говорит, что не поедет. Жена бригадира успевала говорить про какую-то сельповскую шерсть и утешать плачущего ребенка. Радио почему-то вдруг запело женским нелепым басом. Оно пело о том, что «за окном то дождь, то снег и спать пора-а-а!». Минутка лаяла, сама не зная на кого. Во всем этом самым нелепым был, конечно, бас, которым женщина пела по радио девичью песенку. Слушая эту песенку, нельзя было не подумать про исполнительницу: «А наверно, девушка, у тебя и усы растут!»

12

Я вышел на улицу. Луна стала еще круглее и ярче, звезды же чуть посинели, и всюду мерцали снежные полотнища. Все окружающее казалось каким-то нездешним царством. Я был в совершенно непонятном состоянии, в голове образовалась путаница. Словно в женской шкатулке, которую потрясли, отчего все в ней перемещалось: тряпочки, кусочки воска, наперстки, мелки, монетки, иголки, марки, ножницы, квитанции и всякие баночки из-под вазелина.

Я долго стоял посреди улицы и разглядывал родные, но такие таинственные силуэты домов. Скрип шагов вывел меня из задумчивости. Оглянувшись, я увидел Анфею.

— Что, на природу любуетесь?— сказала она и слегка хохотнула, как бы одобряя это занятие.

— Да вот... На свежем воздухе...— Я не знал, что говорят в таких случаях.

Анфея послала мальчишку домой.

— Беги, вон видишь дом-то? Ворота открыты, там тебя бабушка разует, киселя даст.

Мальчишка побежал, подпрыгивая. Она обернулась и опять хохотнула:

— А ты, Костя, один-то не боишься ночевать?

— Да нет, не боюсь.

— А вот мне дак одной ни за что бы не ночевать. В эком-то большом доме.

Я кашлянул, принимая к сведению это заявление.

— Взял бы да хозяйку нашел,— как бы шутливо сказала она.— Хоть временную.

— Да нет уж... устарел.

— Ой-ой, старик!— Она чуть замешкалась.— Ну пока, до свиданьица... Заходи нас проведывать.

Она ушла, скрипя по снегу высокими каблуками и с каждым шагом игриво откидывая в сторону руку с зажатой варежкой. Я же вошел в свой дом и закрыл ворота на засов. Улегшись ночевать, подумал, что обычно все гениальные мысли приходят с некоторым запозданием: «Какого же черта ты не пригласил ее похозяйничать! Устарел! Один не боюсь! Тоже мне...» Я ворочался, кряхтел и вздыхал, пытаясь уснуть, и луна пекла прямо в голову. Фантазия все сильнее раскручивала свои жернова. «О, черт! Гнусно все-таки. А ты, братец, диплодок. И притом натуральный. Да, но кому от этого вред, если она сама...» И вдруг я с ужасом поставил жену на место этой женщины. «Ну разве она, Тонька-то, не такая же? Все они одинаковы,— мысленно кричал я,— дело лишь в подходящих условиях». Я бесился все больше и уже ненавидел, презирал свою жену.

— Евины дочери! Вертихвостки!— вслух ругался я и думал, как нелепо и горько устроено все в жизни.

Дремотная пелена не глушила этой горечи. Я засыпал, но во сне боль и ревность были еще острее. Опять просыпался, оказываясь лоб в лоб с желтой громадной луной.

«Нет, все в мире выходит не так, как ждешь, все по-другому...» Мне казалось, что мой старый дом тоже не спит, перемогая длинную лунную ночь, вспоминает события

столетней давности и всем своим деревянным естеством сочувствует мне.

Смешно и нелепо... Так уж, видно, устроена жизнь, что чем глупее человек, тем он меньше страдает. И чем больше стремишься к ясности, тем больше разочарований. И, может быть, лучше ни до чего не докапываться? Жить счастливо обманутым? Да, но притворяться, что ли? Делать вид, что ничего не знаешь?

Мне вспомнилось, как в раннем детстве я любовался работой ласточек под карнизом. Они так весело, так ловко строили свои домики над окнами, гнезда лепились одно к другому, как соты. Я много дней подряд недоумевал, из чего сделаны гнезда. Я хотел потрогать домик руками, узнать, как он сделан: уж очень загадочным, интересным казалось все снизу. Я спросил у бабки, из чего сделаны гнезда. «Из грязи»,— сказала бабка. Это было до того грубо и непоэтично, что я был обижен, не поверил и до вечера ходил за бабкой следом, чтобы она помогла достать гнездо. И вот мы взяли из хмельника тонкий длинный шест. Бабка, ругаясь, достала шестом крайнее пустое гнездо и отколупнула его. Я бросился глядеть, схватил ласточкино строение и... чуть не запустил им в бабку. Гнездо действительно было слеплено из комочков грязи, скрепленных соломинками и птичьим пометом. И мне казалось тогда, что во всем виновата бабка...

13

В доме все еще тепло, даже утром, хотя мороз кое-где подрисовал колю-

чих узорчиков на стеклах наружных рам. У меня понемногу проходит ночное смятение. С удовольствием щепаю лучину, запрыгиваю на печь, чтобы открыть задвижку. Насвистывая, чищу картошку. Ее можно сварить просто так или натушить с консервами, и мне приятно, что можно решить это, пока чистишь. Приятно и от того, что после завтрака я пойду ремонтировать баню, а то можно и не ходить на баню, а пойти в лес по узкому зимнику и там наломать сосновых лапок на помело, либо просто поглядеть заячьи следы, либо послушать синиц, жуя холодную льдинку наста...

Я истопил печь, поставил подальше от загнеты картофель с консервами. Закурил.

Хлопок ворот вывел меня из счастливой созерцательности. По стуку батога я догадался, что сейчас меня навестит Авинер Козонков.

Старик вошел без предупреждения, как принято заходить в деревнях. Поздоровался и сел, не снимая бесцветной своей шапки, завернул цигарочку. От чаю он не отказался, и я налил ему прямо из термоса.

— От электричества греется?— Козонков постучал пальцем по термосу.

— Нет, просто так.

— А этот от электричества?— Козонков показал на говорящий транзистор.

— Этот от электричества.

— До чего наука дошла.

Козонков покрутил колесико. Послышался позывной «Маяка». Мы помолчали, слушая. В избе слегка пахло угаром, и я полез открыть трубу.

— А вот меня дак никакой угар не берет. С малолетства,— сказал Авйнер.— Иной только нюхнет — и угорел. А я этого угару не признаю. Голова у меня крепкая.

— Крепкая?

— Это точно, голова у меня крепкая. Не худая голова, жаловаться не могу. Мне, бывало, еще Табаков говаривал...

— Какой Табаков?

— А уполномоченный финотдела, из РИКа. Мы с им с восемнадцатого году во всем заодно, а я у него, можно сказать, был правая рука, как приедет в деревню, так меня сразу требовал. Бывало, против религии наступленье вели — кого на колокольню колокола спехивать? Меня. Никто, помню, не осмеливался колокол спёхнуть, а я полез. Полез и залез. Да встал на самый край, да еще и маленькую нужду оттуда справил, с колокольни-то.

— Нет, серьезно?

— Ну! А еще до этого, когда группки бедноты создавали, дак меня Табаков первого выдвинул. Собранье было, помню, в бывшей просвирной, встает Табаков. Так и так, говорит, надо нам, граждане, создать в вашей деревне группку бедноты, чтобы ваших кулаков вынести на чистую воду и открыть в вашей деревне классовую войну. Дело не шуточное. Кого в группку? Предлагаю, говорит, граждане, товарища Козонкова. А еще кого? Мы с им до того еще список составили, я встаю и зачитываю: надо Сеньку Пичугина — у его, кроме горба за плечами, ничего нету. Надо Катюшку Бляхину, чтобы в женсовет, Катюшка на язык востра и сроду

в няньках жила. Выбрали еще Колю — тихонького, этот был весь бедный. С этого дня я с товарищем Табаковым был друг и помощник, он меня всегда выручал, а потом его в область перевели, теперь вот слышу, на персональной живет.

Козонков помолчал.

— Как думаешь, а мне ежели документы послать? Дадут персональную? У меня вот и документы все собраны.

Я сказал, что не знаю, надо посмотреть документы. Козонков достал из-за пазухи какую-то тетрадь или блокнот, сложенный и перевязанный льняной бечевкой. Тетрадь была когда-то предназначена под девичий альбом, на ней было так и написано: «Альбом». Ниже был нарисован какой-то нездешний цветок с лепестками, раскрашенными в разные цвета, и две птички носом к носу, с лапками, похожими на крестики. На первой странице опять был нарисован розан. Стихи со словами: «Бери от жизни все, что можешь» — помещались на второй странице, на третьей же было написано: «Песня». И дальше слова про какого-то красавца Андрея, который сперва водил почему-то овечьи стада, а под конец оказался укротителем:

...И понравился ей укротитель зверей,
Чернобровый красавец Андрюша.

Пять или шесть «песен» я насчитал в альбоме Анфеи. После них пошли частушки, впрочем очень душевные и яркие, и, наконец, появились какие-то записи, сделанные рукой Козонкова: «Слушали о присвоении колхозных дровней и о плате за случку единоличных

коров с племенным колхозным быком по кличке Микстур («Почему, собственно, Микстур?» — подумалось мне, но размышлять было некогда). «Ряд несознательных личностей...» «К возке навоза приступлено...»

Записи мелькали одна за другой: «Постановили, дезертиров лесного фронта объявить кулаками и ходатайствовать перед вышестоящими о наложении дополнительных санкций. Поручить бригадирам взыскать с них по пятьдесят рублей безвозвратным авансом и отнять выданные колхозом кожаные сапоги. Послать на сплав вторительно».

Я вынул из «Альбома» пачку пожухлых, на разномастной бумаге документов. Была здесь бумага с типографским заголовком: «Служебная записка». Запись на ней, сделанная наспех, карандашом, предлагала «активисту тов. Козонкову немедленно выявить несдатчиков сырых кож». В конце стояла красивая витиеватая подпись.

К этой записке были пришиты нитками удостоверение на члена бригады содействия милиции, справка об освобождении от сельхозналога и культсбора, датированная тридцать вторым годом, а также вызов на военные сборы. Кроме всего этого, имелась бумажка со штампом районной амбулатории, где говорилось, что «гр-н Козонков А. П. 1895 года рождения действительно прошел амбулаторное обследование и нуждается в освобождении от тяжелых работ в связи с вывихом левой ноги».

Я внимательно прочитал все документы, а Козонков достал из кармана собранные отдельно вырезки из газет. Их оказалось очень

много. Некоторые были помечены еще тридцать шестым годом, подписанные то «селькор», то псевдонимом «Сергей Зоркий», а то и просто «А. Козонков».

— Нет, Авинер Павлович, по этим документам вряд ли дадут персональную.

— А почему? Я, понимаешь, считай с восемнадцатого года на руководящих работах. В группке бедноты был, секретарем в сельсовете был. Бригадиром сколько раз выбирали, два года зав мэтээф работал. Потом в сельпе всю войну и займы, понимаешь, распространял не хуже других.

— Ну, не знаю... Пошли заявление в район.

— Да я уже писал в район-то.

— Ну и что?

— Затерли. Кругом, понимаешь, одна плутня.

Мы опять помолчали. Авинер Павлович осторожно собрал бумаги, уложил в «Альбом» и перевязал веревочкой.

— Все, понимаешь, бюрократство одно,— продолжал он.— А ведь ежели по правде рассудить, мне разве двадцать рублей положено? Ведь, бывало, и на рыск жизни идешь, в части руководства ни с чем не считался. Спроси и сейчас, подтвердит любая душа населения, которая пожилая.

— Что, Авинер Павлович, у тебя и наган был?— Я налил еще чаю и обул валенки.

14

— Наган у меня был. Семизарядный, огнестрельный. Системы «английский бульдог». Лично Табаков под

расписку выдал. Говорит, ежели в лесу аль ночью да трезвый, езди с заряженным. А когда на праздник едешь, так патроны-то вынимай, оставляй дома. А ведь что, дружочек? Иной раз выпьешь, контроль над собой потеряешь. Так я, бывало, ежели в гости еду, патроны-то вынимал да клал матке за божницу.

Один раз — на зимнего Николу дело — по всей волости пивной праздник. Пришел в гости в Огарково к Акиму. У его самогонка была нагонена, две четверти, пива шесть ведер наварил. А наш Федуленок в Огаркове гостил в трех домах, ну и в том числе у Акима. Сел я за стол, Аким стопку наливает мне первому. Федуленок и говорит: «Что это ты, Аким Остафьевич, вроде у тебя за столом есть и постарше Козонкова, что это рядовую-то нонче с малолетков подаешь? Раньше ты вроде бы не так подавал. Ежели, говорит, я у тебя гость не любой, так могу и уйти, освободить избу». Ну, Аким промолчал, ничего не сказал, а когда до второй рядовой дошло дело, вижу, наливает первому Федуленку. Меня, братец ты мой, так и подкинуло. На лавке-то. «Ну, говорю, Аким, не гостил я у тебя и гостить не буду!» Сам встал да к порогу. Аким с табуретки вскочил, держит меня, обратно за стол садит, а Федуленок и говорит: «Чего это ты, Аким Остафьевич, стелешься перед ним? Аль ты ему задолжал да не отдал вовремя? Пусть идет, коли не сидится ему». Я тут, конечно, не стерпел, на взводе уж был. До этого в двух домах гостил, в голове-то уже пошумливало. Схватил этого Федуленка за жилетку, через стол да как дер-

ну, пуговицы так и посыпались. Бабы с девками завизжали, шум, крик, а я Федуленка из-за стола волоку. Тут Аким рассердился, оттащил меня, отцепил от жилетки-то, да и говорит: «Вот что, Винька, ежели пришел ко мне в гости, так гости по-хорошему, панику не наводи, в моем дому сроду никто не бузил. А ежели будешь варзать, так вот тебе бог, вот порог!» Федуленкова родня тоже из-за стола на меня встает. Я вижу, что попал в непромокаемую, раз — наган из кармана. «А ну, говорю, подходи, кому жизнь надоела. Пришибу, не сходя с этого места!» Только так крикнул, а мне Сенька — Федуленков племянник — как даст ногой по руке, наган-то полетел, а я думаю: ладно, я сейчас временно убегу, а потом посчитаемся.

Кинули мне наган с крылечка-то, воротами хлоп — и на запор. Я встал на ноги-то, ну, думаю, я вам покажу! Поплачете вы у меня кровавой слезой, и Федуленок и Сенька! Акиму тоже припомню, за мной не пропадет. А что ж ты, братец, думаешь, все после в ногах катались, до единого. «Авинер Павлович, прости, пожалуйста!»; «Авинер Павлович, войди в положенье!» Вишь, думаю, тут так и Авинер Павлович, а тогда Винька был да еще и вот бог, вот порог. Когда колхоз учредили, Федуленок шапку снял, ко мне в ноги кинулся: «Ребята, примите в колхоз, не губите на старости лет!» А я говорю: «Надо еще подумать, принимать ли тебя в колхоз». На совещание ушли. Говорю Табакову, что Федуленка принимать нельзя по классовым признакам: у него две коровы, два самовара. Дом двоежилой. Остал-

ся в единоличниках этот Федуленок. И положили ему одного лесу вывезти сто двадцать кубометров, да хлеба сколько сдать, да деньгами, да молока, да сена. Тут Федуленок и заверещал.

Козонков отказался от «Шипки», закурил махорку.

— А ежели в область написать?

— Что?— Я очнулся и долго не мог понять, о чем идет речь.

— Да насчет пенсии-то.

— Можно и в область.

— Все хочу сам съездить да похлопотать, только собраться никак не могу. Да и ноги стали худые, совсем отказали, ноги-то. А соберусь. Ты-то там на какой улице живешь? Не у вокзала? Дал бы мне адрес-то, может, приеду, дак у тебя и ночую.

— Пожалуйста, в любое время.

Я взял у него «Альбом» и записал свой городской адрес, записал около того места, где говорилось, что «слушали о плате за случку единоличных коров с колхозным быком и постановили платить за каждую случку по шесть рублей деньгами либо по десять трудодней трудоднями».

Козонков снова тщательно завязал «Альбом» веревочкой и ушел. Стук его батога становился все тише, ворота хлопнули. А я еще долго сидел у окна и глядел на тихую снежную улицу, на тихие редкие дома. Смеркалось.

Дом Федуленка, где была когда-то контора колхоза, глядел пустыми, без рам, окошками. Изрешеченная ружейной дробью воротница подвальчика с замочной скважиной в виде бубнового туза висела и до сих пор на

одной петле. На князьке сидела и мерзла нахохленная ворона, видимо не зная, что теперь делать и куда лететь. По всему было видно, что ей ничего не хотелось делать.

15

Дни были все еще не очень долги, хотя подходил к концу мой сиреневый отпускной март. Но солнышко уже вытапливало золотую капель, которая еще с вечера капля за каплей напаивала на застрехах ледяные сосули.

Каплю воды не успевало сорвать ветром, и она замерзала, потом катились новые снеговые слезинки и, не успевая упасть, тоже замерзали, и сосуля росла сама по себе, теперь уже от собственного холода.

Баня все еще не была готова. Олеша работал на совесть и потому медленно. Где-то на дальних подступах ко мне подкрадывалась тоска холостяцкой жизни. Однажды после самовара я по-турецки сидел на лавке и никак не мог решиться вымыть посуду. Глядел, как вырастает за окном сосуля.

Странно, чем больше я убеждался, что посуду все равно мыть придется, причем чем скорее, тем лучше, тем больше не хотелось ее мыть. Все-таки надо было что-то предпринимать. Я встал, оделся и настроился идти к Олеше, а когда принял это решение, то сразу стало как-то легче...

У самых ворот Олешина дома стояли и торчали оглоблями персональные Олешины дровни. Два воробья, видимо осмыслившии, что зиму они почти одолели и что дело

идет к теплу, весело подпрыгивали у крылечка. Они с недовольным чириканьем слетели на изгородь и начали дрыгать не очень опрятными хвостишками. Мол, согнал с места, да еще и не уходит. Но мы-то знаем, что сейчас уберешься. Мне подумалось, что, живи воробьи в воде, они были бы ершами, и наоборот, ерши, называемые в последнее время в рыбацкой среде на китайский манер,— это и есть те же воробьи, только рыбы, а больше ничем от воробьев и не отличаются. До чего не додумаешься от безделья! Я почувствовал себя ротозеем и ступил в Олешины сени.

— Здравствуйте!

— Проходите да хвастайте.— Настасья обмахнула лавку домотканым передником.

Сутрапьян, видимо забыв прежнюю дружбу, встретил меня весьма негостеприимно. Настасья тем же передником загнала его под лавку.

— Сиди и не крякай! Вишь, какой крикун, весь в Козонкова.

Такое утверждение несколько озадачило. Я спросил, почему в Козонкова.

— Да ведь как, от ихнего кобеля-то,— сказала Настасья.

Затопляя маленькую печку, она подробно объяснила происхождение Сутрапьяна. С Настасьиных слов я узнал, что свою Минутку Евдокия и конфетой кормила, и в сундук запирала, уходя на конюшню. Но все равно не могла углядеть, и тонконогая шельма изловчилась-таки, и вот двоих щенят унесли в Огарково, а третьего обещался взять кузнец Петя. Однако Петя, увидев щененка, отказался в последний момент, говоря, что

такого занюханного ему и за так не надо, что он его и не только не возьмет, но и сам даст придачи, чтобы не брать. Евдокия же, не зная, что делать, предложила щенка ей, Настасье, а Настасья взяла из жалости и теперь как только увидит козонковского кобеля, так и плюется и ругает его прохвостом.

— И здря,— сказал Олеша, сучивший в это время дратву.

— Чего здря?— обернулась к нему жена.

— А то и здря, что Авинеров кобель тут сбоку припеку, он совсем ни при чем. Ты человека не вводи в заблуждение. Эта Минутка с бригадировым псом путалась. Авинеров кобель только поприлаживался. Будет он заниматься с такой пуговицей.

— Не ври, ради Христа, не ври! Бригадирова кобеля и так все изобижают.

Тут начался спор. Олеша доказывал свое, а Настасья свое, и очень громко, поскольку была глуховата. Виновник конфликта лишь преданно моргал и глядел то на одного, то на другого. Вероятно, Олеше вскоре надоело или женины аргументы оказались более основательными, но он миролюбиво отмахнулся:

— А ну тебя. Бес их разберет. Их целая эскадрилья за ей бегала.

— Чего?

— Ладно, ничего. Проехало,— буркнул Олеша и добавил громко:— Свари рыбы-то!

— Да рыба-то, старик, вся.

— Вари всю.

Настасья, прихрамывая, ушла в кухню, сняла с гвоздика гирляндку сушеных маслят, по-здешнему — обабков.

Я спросил, что у нее с ногой.

— Ох, я полоротая!— засмеялась бабка.— Лазала, милой, за картошкой, да в подполье и хряснулась. Другой день хромая хожу. В малолетстве сколько раз с печи шмякалась, и хоть бы чего. А теперь, вишь, косточки-то стали стамые, ушибливые.

— Ой, старбень,— добродушно заметил Олеша, воткнул шило в паз и пошел за печь к умывальнику.

Грибной суп уже закипал в чугунке. Я разглядывал многочисленные фотокарточки в деревянных рамках, украшенных фольгой от чайной упаковки.

Почти все снимки так или иначе связаны были с Густей — единственной дочерью Олеши и Настасьи. Я ее хорошо помнил, помнил с тех пор, когда, будучи еще мокроносым, ходил на гулянки. Густя, приезжая с лесозаготовок, все время плясала с Козонковой Анфеей, они очень стройно и слаженно пели частушки на каждый житейский случай. Сразу после войны дороги подружек разошлись: Анфея уехала в Архангельск, а Густя тоже куда-то исчезла.

Разглядывая снимки, я увидел относительно нестарую фотографию Анфеи, воткнутую поверх стекла. Анфея сфотографировалась с серьгами и вся барашковая от свежих кудрей, словно каракуль. Левая ее рука (с часами) держала букет. На другой стороне снимка я прочитал автограф Анфеи: «Смотри на мертвые черты лица и вспоминай живую. Густе от Нелли. Снимок сделан в возрасте 30-ти лет».

Вот тебе раз! Оказывается, Анфея давно никакая и не Анфея, а Нелли! А я-то, дурак,

сколько раз называл ее Анфеей. Правда, к ее чести, она не обижалась и не поправляла, а может, дома, в деревне, прежнее имя и для нее самой звучало нормально.

В следующей раме красовались открытки с не очень известной киноактрисой и с байкальским пейзажем, а между ними помещался пожелтевший дагерротип, изображавший молодую чету. Он, в хромовых сапогах и в косоворотке с поясом, в картузе и с красивыми черными усами, стоял, трогательно положив руку на ее плечо, глядя серьезно, ласково и как-то застенчиво, грустно. Она же, красивая и пышногрудая, в фате-кашемировке, в длинном платье с буфами, в высоких со множеством пуговок полусапожках, сидела на ампирном стуле с платочком в руках и глядела бесхитростно, но в то же время с кроткой суровостью.

Поистине было трудно узнать в этой чете Олешу с Настасьей. В той же рамке помещалась фотография Густи и густобрового, явно кавказского молодца: парень был достойный, но сидели они до того неестественно, что так и хотелось поморщиться. Видно было, что перед тем как снимать молодых, фотограф силой, бесцеремонно пригнул их головы друг к дружке, сказал «спокойно» и уж только тогда щелкнул затвором. Ничего себе спокойно! Они сидели головами впритык, с изогнутыми шеями, а им еще приказано было улыбаться. На другом снимке тот же парень был один и выглядел куда симпатичнее, в солдатской блинчатой пилотке, в одной майке, из-под которой даже на фотографии курчавилась богатая смоляная расти-

тельность. Дальше, как я ни глядел, но кавказского парня не увидел, а увидел другого, тоже солдата, вернее, сержанта, сперва в мундире, а потом без, рядом с Густей и врозь.

— А этот кто?

— Этот тоже варяга,— хмуро сказал Олеша.— Из-под Мурманска.

Я вздохнул, но меня несколько развлекло то обстоятельство, что Олеша делил зятьев на «своих» и «варягов», не столько по национальному признаку, сколько по признаку дальности расстояний.

Тем временем суп у Настасьи сварился, она постелила на стол скатерть. Олеша нарезал сельповского хлеба. Я не стал выкамариваться и, не дожидаясь второго приглашения, сел за стол. Уж больно вкусно пахло грибным наваром, да и время было как раз обеденное. К тому же, питаемое всухомятку, все мое нутро давно жаждало супа.

— Ну-ко, солите, ежели, сами,— сказала Настасья и, перекрестясь, взяла ложку.

Вдруг Сутрапьян с лаем вылетел из-под лавки, потому что ворота скрипнули. В дверях показалась Евдокия, левой рукой она то и дело терла глаза, а в правой держала письмо.

— Вот, девушка, почтальонка-то подала, говорит, отдай.

— Да чего с глазом-то?

— Ой, не говори, солому трясла, да мусорина с ветром и залетела. Ради Христа, вынь, не знаю, чего и делать!

Настасья считалась в деревне не то чтобы полной ворожеей, но специалистом. Она оста-

навливала кровь, заговаривала зубную боль — причем зачастую успешно, знала толк в болезнях животных, чирьи же сводила с любого места, и все это бесплатно, за одно спасибо. Вот только грыжи были ей не под силу. Мастерица была она и доставать мусоринки из глаз — языком: даже ячменная ость — вещь самая опасная для глаза — не могла устоять перед Настасьиным мастерством.

— Ну-ко! садись!

Настасья усадила Евдокию на пол, сама села рядом, ногами в противоположную сторону. Потом взяла руками голову Евдокии и, зажмурившись, приступила к операции.

Олеша без остановки хлебал суп. Сутрапьян, как, впрочем, и я, с любопытством и сочувствием глядел на старух.

— Ты не вертись, не вертись, ведь я эдак не нащупаю! — сказала Настасья, прежде чем сделать вторую попытку.

— Да ведь как, девушка, не вертись. Экой-то толстущий под веко заворотила, — смеялась Евдокия.

Олеша недовольно покосился на них:

— Открыли поликлинику. Не дадут пообедать толком.

С третьей попытки Настасья обнаружила мусоринку, с четвертой вытащила ее на кончике языка. Евдокия, мигая, облегченно села на лавку. Настасья взяла ложку.

После грибного супа на столе появилась пшенная каша, потом простокваша.

— Ну, теперь, правик до вечера, — сказал Олеша, распечатывая письмо. — Ну-ко, почитай, ты пограмотнее.

Я взял письмо и прочитал вслух, рас-

ставляя мысленно запятые по своему усмотрению:

«Добрый день, здравствуйте, тятя и мама. Пишу вам свой поклон за себя и за своего мужа Николая, а также кланяются внучата Толик и Шурик. Как вам и сообщаю, что Шурик родился у нас здоровый, уже делает ладушки, обличьем больше в отца, только нос бабушкин. Тятя, что это от вас нету никакого письма, ждем второй месяц, послали мы вам посылку, напишите, дошла ли посылка. Тятя, у нас все благополучно, Николай на старой должности, а я с работы ушла. Шурика оставить не с кем. И прошу убедительно, не приедешь ли ты, мама, хоть бы на пока, а то работу бросать неохота, а Шурика не с кем оставить. Комнату нам дали хорошую, есть сарайка и огород, весной посадим; так что пусть бы мама приехала, я бы пошла и работать на прежнее место, в столовую. В остальном все пока живы и здоровы, передайте привет всей нашей деревне, а именно: Козонковым, Евдокии, бригадиру Ивану, Петекузнецу и всем, всем. Вчера ночью привиделось, что кошу сено на Прониной пустоши. Жду письма с нетерпеньем, дайте ответ сразу. Остаюсь ваша дочь с семейством... *Густя*».

Олеша сидел, облокотясь на колени и глядя вниз. Настасья слушала, положив костистые руки на колени, и Евдокия утирала глаза кончиком платка.

— Ехать-то уж больно далеко,— сочувственно заметила Евдокия и вздохнула, собираясь уходить.

Я вышел вместе с нею, предоставляя ста-

рикам самим решить судьбу Шурика, который делает уже ладушки и похож больше на отца, чем на мать.

16

На улице Евдокия взяла меня за локоть:

— Иди-ко, чего скажу-то...— И с видом человека, знающего то, что никому, кроме нас двоих, знать не положено, добавила:— Надо бы, батюшко, радиво наладить, у меня в избе радиво заглохло. Приди-ко вечером-то, приди.

В радиотехнике я не был специалистом. Но знал, что по понятиям Евдокии инженер есть инженер и потому должен уметь все. Я пообещал прийти, и Евдокия, довольная, но с тем же конспиративным видом пошла на конюшню. «Почему же вечером?— мелькнуло у меня в голове.— Днем же лучше ремонтировать проводку».

Не зная, что делать до вечера, я пошел к своей бане. Надо же! Баня, оказывается, была почти готова. Два нижних ряда заменены, полки сложены вновь и окошечко вставлено. Олеша тюкался здесь ежедневно, и потихоньку дело двигалось. Все было сделано на совесть, даже задвижка вытяжной трубы вытесана из новой дощечки. Оставалось только сложить каменку.

Я решил тут же начать складывать каменку. Отсортировал кирпичи и камни, очистил от золы кирпичный и еще крепкий под, выпрямил железяки, на которых держался свод каменки. Но пришедший через полчаса Олеша вежливо забраковал мою работу:

— Поперечины новые надо, под тоже лучше перекласть.

Олеша был так предусмотрителен, что принес из дому новые железяки для поперечин и ведро глины. Видя взыгравшую вдруг мою трудовую активность, он ни словом не обмолвился о ее некотором запоздании, и мы принялись за работу. Разломали старый под и в три кирпича положили новый, без перекура сложили кирпичные стенки, и только тут я спросил, что решили они с Настасьей насчет поездки.

— Да что решили, все без нас решено,— Олеша чихнул.— Придется ехать. Хоть временно.

— Ну, а ты-то как будешь один? С коровой, с хозяйством?

— А чего. Хозяйство невелико. Я-то что, старуху мне жалко. Разве дело — на старости лет ехать невесть куда. Нигде не бывала дальше сельсовета.

— Вот и пусть поглядит.

Старик как бы не слышал этого «пусть поглядит». Выбирая кирпич получше, прищурился:

— Чужая сторона, она и есть чужая. Меня, бывало, направили на трудгужповинность...

— Что, что?

— Все это же,— сказал Олеша.— Дороги строить. Лесозаготовка — колхозник иди, сплав — колхозник, пожар в лесном госфонде — тоже колхозник. Это теперь везде кадра пошла, а тогда одни колхозники. Бывало, на лесопункте на бараках плакаты висят: «Товарищи колхозники, дадим больше леса,

обеспечим промышленность!» Полколхоза новые рукавицы шьет. Я, конечно, понимаю, без лесу нельзя. Копейка тоже государству нужна, заграница за каждую елку платила золотом. Только ежели лес так лес, а земля так земля. Уж чего-нибудь одно бы. Мы и нарубим, и по воде сплавим — шут с ним. Хоть и за так работали, денег платили — на те же рукавицы не хватит. А ведь после сплава надо еще в колхозе хлеб посеять, иначе для чего мы и колхозники. Вот сплав сделаешь, а посеешь только на Николу, на четыре недели позже нужного. Что толку? Посеем кое-как, измолотим того хуже, а год отчетный в лоб чекнет. Первая заповедь — государству сдай, вторая — засыпь семена, третья — обеспечь всякие фонды. Колхознику-то уж что достанется. Иной раз и совсем ничего. Помню, когда первый раз в колхоз вступали. Куриц и тех собрали в одно место, овец, одне коты по домам остались. Все свалили в одну кучу, дерьмо и толокно. Корову сдал, кобылу сгонил. Шесть овец в общее гумно, да куриц с десяток было. Вдруг — опять все по-прежнему, после статьи-то, колхоз, значит, распустили. Помню, гумно-то с овцами открыли, все овцы в разные стороны разбежались по своим домам. Федуленок и говорит: «Это оне от головокруженья». Ну, и пошел сердечный в сельсовет, а там ему индивидуальные листы вручили, недолго и думали. «Ты, говорят, кулацкую агитацию разводишь».—«Ребята, говорит, простите, ради Христа, сам не знаю, как с языка сорвалось». Что ты! А эти листы и за шесть годов не выплатить, не то что за год. Уж он и в Москву

писал. А письмо на край послали, край на район, а район на сельсовет. На кого жаловался, к тем и жалоба попала. Дом с молотка, скотину, юбки там, чугунки... Помню, пришли описывать, меня Табаков понятым назначил. Винька Козонков по дому ходит, глядит, чтобы чего не спрятали либо суседям не перетащили. Козырем ходит. В дому рев стоит, бабы с девками причитают. Вижу, одна Танька не плачет, стоит у шкапа белее бумаги, стоит она, голубушка, а у меня и в глазах туман. Тут я вспоминл опять, как мы с Винькой у ее ягоды отняли. А Федуленок сидел-сидел и — бух Табакову в ноги. Сам плачет. Табаков ему говорит: поздно теперь переиначивать, дело в район отправлено. «Кабы ты, говорит, в Москву не жаловался да не кляузничал, может, говорит, мы бы и сняли с тебя позорное кулацкое званье». Я сидел-сидел, а потом меня и начало трясти. Не буду, говорю, акт подписывать. Встал да за скобу, да домой, да... Потом и это мне Козонков с Табаковым припомнили. На другой день Федуленок поехал со всем семейством, в чем были — в том и поехали. Вижу, Федуленок с народом прощается, бабы плачут все поголовно. Принесли им кто пирог, кто горбушку хлеба, кто пяток яиц. Милиционер торопит, прощаться не дает. А Танька ко мне при всем народе подошла. Да как заплачет... Танька-то... Увезли Федуленково семейство в Печору, с того дня ни слуху ни духу.

— Что, и письма не бывало?

— Было два или три, первое время. Федуленок у моего отца про дом спрашивал да про народ, кто где. А после шабаш. Да мне

уж после и не до Федуленка стало: отец умер, пришлось жениться, а тут еще и меня начали прижимать, такое пошло собачество... Из лесозаготовок не вылезал. Помню, матка у меня все корову жалела, ходила во двор, в поскотину. Придет, да и ревит, Пеструху гладит. Я уж ей и запрещал, все без толку. Как праздник, так и пойдет корову проведывать. Один раз Козонков увидел ее у коровы и говорит, чтобы рев прекратила. «Будешь, говорит, еще реветь, мы и тебя в Печору сошлем». Я и не стерпел в тот раз: «Тебя бы, говорю, надо в Печору-то, чтобы не варзал». Вишь, старуху Печорой стращает. «Ты, говорю, вон пьешь, по семь календарных дней не просыхаешь, а зябь у тебя в бригаде не пахана: ведь тебе надо рогожное знамя вручить, до чего ты бригаду довел». После этого и началось, раз — на меня двойной налог. Приписали кулацкую агитацию. Чего только не напримазывали: и что жена колдунья, и что живу в опушенном дому. Призвали один раз в контору, Табаков говорит: «Вот, гражданин Смолин, поезжай в лес. Вывезешь сто пятьдесят кубометров, снимем с тебя культналог и повышенное задание. Даем тебе возможность исправиться перед пролетарским государством». Я говорю: «Вроде бы, ребята, исправляться-то мне не в чем, ни в чем я не виноват перед вами. Работаю не хуже других. Сами же премию за весенний сев дали: вот, говорю, и пинжак выданный на плечах. Про Козонкова чего и сказал, так правда. А ежели баба моя вереда[1] у людей лечит, так я в этом не виноват. «Нет, говорят, виноват». Что де-

[1] Веред — чирей, болячка.

лать? Насушил сухарей да и поехал хлысты возить. А лошадь дали жеребую. Недоглядел один раз, дровни за пенек зацепили. Натужились мы оба с кобылой, воз-то сдвинули. Только я с пупа сорвал, а кобыла того же дня сделала выкидыш. Мне за это пятьдесят трудодней штрафу, да еще говорят, что это я с цели сделал, на вред колхозу. Не жаль трудодней, обидно сердцу.

Уж за меня и начальник лесопункта заступался, план-то я выполнил хорошо, ничего не берут в толк. Приехал домой. А меня опять — теперь уж дорогу строить, на трудгужповинность. Поскотиной ходил, березки считал. В поле на каждом камне посидишь, хуже любой бабы. Думаю, хоть бы недельку дома пожить, укроти, господи, командерское сердце! Ночь ночевал — Козонков в ворота. «Ну?» Все «ну», да «ну», тпрукнуть некому. Поехал по трудгужповинности, работал весь сезон, все время переходящий красный кисет за мной был. Красный кисет с табаком выдавали, кто хорошо работал. Я и думаю, на производстве хоть знают сорт людей, видят: ежели ты работаешь, так и ценят тебя. Не буду, думаю умом-то, дома жить, уеду на производство. Пошел, помню, в сельсовет за справкой на предмет личности, меня уж звали плотником в одно место, договор заключили. Так и так, хочу из колхоза на производство, вот договор. Мне Табаков и говорит: «Зачем тебе документы, ехать куда-то. Ведь только там хорошо, где нас нет». Вот-вот, думаю, я и хочу туда, где вас нет...

— Дали?

Олеша промолчал, ничего не сказал. Он

подбирал валун половчее, перебирал камни, но не находил подходящего.

— Вот, парень, этот камень в каменку не годится. Это синий камень. Один положишь в каменку и все дело испортишь. Синий камень — угарный, в каменку не годится.

Он выкинул закопченный валун на улицу, определив его по каким-то неизвестным приметам. Я опять повторил вопрос, но Олеша опять не ответил.

— Ладно, что вчерне говорено, то можно похерить, — сказал он. — Забудь, что я тебе тут наплел.

— Боишься, что ли?

— Бояться особо не боюсь. Только и пословица есть: свой язык хуже любого врага.

— Ну, теперь времена другие.

— Другие-то другие... — И вдруг Олеша, хитровато сложив губы, звонко чмокнул языком. — А ты не партейный?

Я замялся:

— Как тебе сказать... Партейный, в общем-то.

— Так скажи мне, правильно ли это, ежели ограда-то выше колокольни?

— Как это... какая ограда?

— А такая. Я помню, хоть и не все были такие герои, вроде нашего Табакова... Герой. Этот герой кверху дырой. Полдела было руками на собраньях махать, громить столешницы. Помню, поехал на Судострой, вон Петькин отец приписал. По договору бараки для рабочих рубить. Только в вагон сел, дремать потянуло, время ночное, позднее. Ночь такая светлая, люди все спят. Вдруг по вагону идет человек. Ястребом по всем сторонам, глаза —

в молоко поглядит, молоко скиснет. И прямо ко мне привязался. «Откуда? Куда?» Документам не верит. Сперва стоя допрашивал, а потом и пошло у него: «Проводник! Никого из вагона не выпускать! Отойдите, товарищи, не загораживайте!» Люди-то запробуждались. «А вы, гражданочка, уберите свои дамские ноги!» Я сижу, гляжу, что из него дальше будет. А что будет — слепой курице все пшеница. «Так. Гражданин, дайте вашу сумку». Это мне-то. Я сумку подал, там смена белья да два яшних пирога, черные, как чугуны. Ячмень-то был с гусинцем[1] намолот, да и мука лежалая, подмоченная. Он пирог-то разломил. «Что это, говорит, такое?» Я говорю, что и так видно, что такое. «Хлеб?» — «Нет, говорю, не хлеб, а пирог». Он мне и тут не верит: «Ты, говорит, может, по вражьему наущенью пропаганду по государству развозишь, таких пирогов не бывает». — «Как, говорю, не бывает, бывает». А сам думаю: тебе бы не пирог, а наш хлеб показать. Не показать, а разок накормить всухомятку, вот бы пропаганда была в брюхе-то. Кожаные-то штаны по часу на голенищах висели. Ты бы, думаю, тех ловил, которые карманной выгрузкой занимаются, а простых-то людей пошто за гребень? Молчу. Чего станешь говорить? Поглядел, поглядел, отступился. Дальше пошел, в другом вагоне пропаганду искать. После этого ни одна душа в вагоне со мной не разговаривала, до самой Исакогорки. Как на зверя глядят, сраму не оберешься. Вот, думаю, что наделал, вихлюй!

---

[1] Гусинец — гусиный горох, местное название вики.

Олеша очень живо в лицах изображал то себя с пирогами, то вагонного проверяльщика.

— А я, друг мой Констенкин, еще скажу, что сроду так не делал, чтобы, осердясь на вошей, да шубу в печь.— Старик снова стал серьезным. — Бог с ними. Была вина, да вся прощена...

Баня оказалась готовой, нужно было затоплять и париться.

17

Уходя, я предложил Олеше рассчитаться за работу, но старик то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит. Лишь после я сообразил, как не к месту было сразу после работы предлагать деньги старому плотнику. Но к предложению «замочить» баню, отметить конец ремонта Олеша отнесся не то чтобы с большим восторгом, но как-то помягче:

— Чайку можно попить. Зайду.

— Старуху бери с собой!

— Спасибо, Костя! Эта-то уж не пойдет.

— Ну так я жду часика через два.

Я прикинул, что у меня есть, чтобы принять гостя, хотел сразу же собрать на стол, но вспомнил, что пообещал прийти к Евдокии, наладить радио.

Минутка встретила меня с чисто формальным лаем: тявкнув для порядка, она шмыгнула в сени. В доме ярко горело электричество, ворота были открыты, но на пороге я чуть не свернул себе шею. Стлань в сенях напоминала черт знает что, только не пол: двух половиц не было совсем, какие-то плахи

и дощечки торчали поперек и были веселые, как говорят плотники. А одна дырка закрывалась фанеркой от посылки. Лампочка ярко и с озорством освещала все эти свидетельства плотницкого искусства самой Евдокии.

Я вошел в избу и слегка опешил: радио орало на полную мощь и очень чисто. Передавали что-то про африканскую независимость. За столом сидела Анфея и разговаривала с хозяйкой, шумел самовар, бутылка красного вина была освобождена на одну треть. Тарелка сушек стояла на столе, другая с рыжиками.

Я поздоровался.

— Чего неладно с радио-то? Вроде хорошо говорит.

— Да теперь-то говорит, — Евдокия пошла к шкафу. — Утром-то не говорило. Ну-ко, за стол-то садись, садись!

Анфея, стараясь перекричать репродуктор, плела что-то про телевизор, как его покупали и что по нему передают, а Евдокия, к моему удивлению, выставила бутылку «белой».

— Ой, отстань, отстань, — затараторила она. — Садись да выпей-ко, дак теплей будет-то. Садись, не побрезгуй. Ну-ко вот, распечатывать-то я не мастерица.

Что было делать? Я сел за стол. Евдокия тотчас налила чайный стакан водки, а себе и Анфее по стопке красного. Что-то неуловимое, какая-то зацепка помешала мне спросить, по какому случаю Евдокия празднует.

— Ну-ко, Неля, давай. Со свиданьицем. — Евдокия, подавая пример, взяла стопку.

Неля покуражилась для виду, напевно сказала:

— Да вот, Константин-то у нас отстает.

И вот, не прислушиваясь к шевелению совести, я чокнулся с обеими и выпил полстакана. Но женщины заговорили как по команде, обе сразу: «Ой, Платонович, ты зло-то не оставляй!» И я допил вторую половину... Водка была до того противна, что в желудке что-то камнем остановилось и нудно заныло.

Я с трудом заглушил тошноту соленым рыжиком. А Евдокия уже наливала в стакан снова...

Уже минут через десять я понемногу начал проникаться уверенностью, а главное — добротой к Евдокии, к Неле, к этому симпатичному самовару, к этой оклеенной газетами избе с кроватью и беленой печью, с этим котом и с увеличенным портретом сына Евдокии, погибшего на последней войне «в семнадцать годков». Моя доброта росла с каждой минутой, хотелось сделать что-то хорошее для Евдокии, ну, хотя бы испилить дрова либо перестлать пол в сенях, Анфею, то бишь Нелю, расспросить и утешить.

В чем же утешить? Неля совсем не давала повода ее утешать. Она давно уже спорила о том, где лучше проводить отпуск, в деревне или в городе.

— Ой, нет! Нет и нет, Костя, ты меня не агитируй. В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда и поговорить не с кем.

— Приехала же вот...

— Приехала; давно не бывала, вот и приехала. Нет и нет.

— Все равно тянет на родину...

— Ничего и не тянет. Выпей-ко лучше! Да не из этой, из той-то, из светлой-то...

— Постой, а где Евдокия?

Евдокии на стуле не было. Не было ее и на кухне, и только теперь сквозь хмельной туман я начал ориентироваться и соображать что к чему... Часы показывали восемь вечера. Олеша мог с минуты на минуту прийти ко мне домой, а я и сам оказался почему-то в гостях.

В это время Анфея, не стыдясь, пристегивала отцепившийся чулок.

— Ты садись, Константин, садись. Евдокия на конюшню ушла, она там и ночует в теплушке.

— В теплушке?

Анфея, не отвечая, встала у зеркала. Вся моя доброта разом исчезла.

Я потоптался посреди избы и решительно произнес:

— Ну, мне надо идти.

Разрумянившаяся Анфея не повернулась от зеркала. Она устраивала свою прическу.

— Пока! — я не совсем уверенно выскочил в сени. Дернул за скобу, но ворота были заперты... с улицы. Озлобившись, я сильно начал дергать за скобу. Палка, вставленная в наружную скобу, загремела, и ворота открылись. Вдовьи приспособления для запирания ворот не выдержали, я как чумной вылетел на улицу. «Ну, деятели!» К счастью, Олеша не приходил, он был не из тех, кто ходит в гости после первого приглашения.

18

Мне надо было уезжать, мы с Олешей топили на дорогу баню. Олеша привез на санках еловых дров, пучок березовой

лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды.

— Истопишь? — Олеша прищурился.

— Истоплю, — оближешь пальчики.

— Ну, давай, а я пойду обряжу корову.

Сначала я начисто мокрым веником подмел в бане. Открыл трубу, положил полено и поджег лучину. Она занялась весело и бесшумно, дрова тоже были сухие и взялись дружно.

Дров Олеша привез с избытком. В бане уже стоял горьковатый зной, каменка полыхала могучим жаром, закипела вода в железной ванне, поставленной на каменку. Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я ни помнил, косяк всегда, еще двадцать лет назад, слезился, когда жар в бане опускался до пола.

Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню. Утром я слышал программу передач. Где-то в это время должны передавать песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха». Я хотел устроить Олеше сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали, но угару уже не было. Можно мыться. Я пошел домой, достал из чемодана пахнущее свежестью белье, полотенце и двинулся к Олеше. Я думал о том, что, наверное, в старину вот так же, с такой же отрадной, возвышенной и покойной торжественностью ходили мои предки к пасхальной заутрене. Мне было и грустно и ра-

достно. Синее небо, расширенное и впервые по-настоящему вешнее, было необъятно, снег отмякал на дороге. С крыш катилась настоящая весенняя капель. В березах и черемухах таилось предчувствие новизны, последний легкий зимний покой, последний сон. Леса вокруг словно подвинулись ближе к деревне, на конюшне сдержанно ржал конь.

Олеша не спеша слазил на чердак за веником.

Вероятно, нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником. Землей, оттаявшей под полом каменки. Какой-то родимой древностью. Тающим, снежным холодом... Своим же потом и собственной кожей...

Так. Первым делом надо повесить шубу. Покурить. Разуться, слегка замерзнуть...

Олеша еще ходил около бани, разглядывал свою работу. Но я уже сидел на полке в сухом, легком, ровном жару и вздрагивал от подкожного холода.

— Добро, парень, добро протопил. — Олеша сел на порог и, не торопясь, снял валенок, поглядел на запяток. — Ишь, мать честная, вроде и подшивал-то недавно. Париться-то будешь?

Этот вопрос был, пожалуй, излишним. Я спрыгнул вниз и медным ковшиком сделал пробу. Валуны отозвались коротким и мощным шумом.

— Ну, давай...

Каменка зашумела, сухой, нестерпимый

жар ласково опалил кожу. Я ошпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полок и вмиг превратился в язычника: все в мире перекувырнулось и все приобрело другое, более широкое значение.

— Ну-ко, теперь посидим...

Но Олеша, предложив посидеть, будто повинуясь какой-то силе, сам себе противореча, вновь поддал на каменку и без остановки полез наверх снова. Я сидел на полу без всяких мыслей. Вспомнил про транзистор, незаметно покрутил колесико, и в бане, в моей старой бане произошло какое-то новое чудо. Голос певца народился неизвестно откуда. В этих естественных, удивительно отрадных звуках не было ничего лишнего, непонятного, как в хлебе или воде: они так просто, без натуги, не чувствуя сопротивления, слились с окружающей, казалось бы совсем неподходящей обстановкой. И Олеша вовсе не удивился, только перестал шуметь, затих и все клонил, клонил лысую голову, потом вдруг встрепенулся, хотел что-то сказать и не сказал.

— Ах ты, едрена корень...

Я, торжествуя и радуясь, выволок из-под лавочки транзистор и подал ему.

— На! Будешь теперь под музыку париться.

— Ну, ежели, это... Не жалко, ежели...

— Не жалко. Какое там жалко!

— Хм. Вот ведь как. А я думаю, это во мне чего-то поет. Из нутра.

— Из нутра и есть.

— Ну и жизнь пошла! Занятная. Умирать неохота, — Олеша намылил мочалку. — Я тебе, Костя, прямо скажу, что особо в его не верю,

в этого бога. Какой тут к бесу бог, не видал я его и врать не буду. Только иной раз и задумаешься. Вот живет человек, живет, а потом шасть — и умер. Как это, спрашиваю, понимать? Ведь ежели вникнуть, так вроде чего-то и нехорошо выходит: был человек, а вдруг тебя нету. Куда девался? Ну, ладно, это самое тело иструхнет в земле, земля родила, земля и обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то этот, ну, то есть который я-то сам и есть, это-то куда девается? Был у меня этот самый ум, душа, что ли, ну то есть я сам. Не тело, а вот я сам, ум-то. Был — и нет. Как так?

— Никуда ты не денешься. Останешься. Ну, вот сделал ты мне баню... Умрешь, а я приеду в отпуск: приду париться. Так же вот думать буду, как ты сейчас, и тебя буду вспоминать. Выходит, что ты во мне будешь сидеть, хоть тебя и нет давно.

— Сумнительно что-то...

— Ничего не сумнительно. — Я и сам поверил в то, что на ходу рассказал для Олеши.— Баня? А наши с тобой разговоры все? Ну, вот возьми твою Настю, она вон у тебя кружева плетет. А не будет ее, а красота эта и после нее останется. Это разве не душа?

— Душа...

— Ну, а вот мы сейчас песню с тобой слушали. Ведь этого человека, может, двести годов нету, а душа-то в песне осталась, ты вот только что ее чуял. И никуда этот человек не девался, разве не правильно говорю?

— Оно, пожалуй, так...

— Вот и ты так же, баню сделал, про

жизнь рассказал. И никуда ты не денешься без следа, останешься.

— Баня-то ведь это не я...

— Как же это не ты? — я даже подпрыгнул. — Как это не ты?

— Да ведь умру вот я, а ты возьмешь да баню мою раскатишь! И все мои слова-разговоры забудешь. Вот и вся душа и весь мой ум, весь я и кончился. Ну, ты, может, и не забудешь, а другой забудет, люди-то разные.

— Другой тоже не забудет!

Олеша ничего не сказал в ответ.

19

Дома я зажег лампу, нащепал лучины и поставил самовар. Вскоре, побритый и принаряженный, пришел Олеша. Вешая на гвоздь его шапку и полупальто, я неожиданно для себя спросил:

— А что, может, за Козонковым сходить?

— Дело хозяйское, — сказал Олеша.

...Жажда творить добро опять зазудела во мне. Я поручил Олеше глядеть за самоваром, побежал за Козонковым. Словно избавляя от опасности еще раз столкнуться с Анфеей, Авинер встретился мне на улице, он правился к бригадиру играть в карты.

— Зайди, Авинер Павлович, на часик.

Козонков замешкался, но я был красноречивей обычного. В сенях посветил Авинеру фонариком.

— Здравствуйте! — громко сказал Козонков.

— Авинеру Павловичу, Авинеру Павлови-

чу! — В голосе Олеши было смешливое добродушие.

...Бутылка армянского коньяка, припрятанная на всякий случай, не давала мне покоя: старики, вероятно, сроду не пивали такого. Поспел самовар. Я открыл консервы, нарезал хлеба и налил по полстакана.

— Ну, Авинер Павлович, Алексей Дмитриевич!

Старики по очереди разглядывали красивую этикетку.

— Правда, говорят, что его на клопах иногда настаивают?

— Врут!

— Выдержка, вишь, пять лет.

— Ты смотри...

— Я так в чаю только.

— Ну, в чаю коньяк не годится.— Я заварил и чай.— Коньяк пьют по глоточку.

Вот дурак, разве можно так говорить? По глоточку... Но Олеша неожиданно меня выручил:

— И ладно, что по глоточку. Вот раньше пили, рюмочки-то были: палец сунешь, в ней сухо будет. Теперь вон стаканами глушат, а что толку?

— Значит, лучше жить стали, — заметил Авинер.

— Лучше — не скажу. А вино пьют, как лошади. Напьются, да давай друг дружку возить. А бабы-то что делают!.. Иная... Иная, как вод... — Олеша закашлялся.

Мне пришлось вспомнить забытые приемы деревенского потчевания. Олеша крякнул, неторопливо взял кусочек консервов, то же сделал и Авинер.

— Что, баню-то доделали? — спросил Авинер.

— Баня, Авинер Павлович, у мужика будет добра, простоит еще двадцать годов, — сказал Олеша.

— Баню не похаешь, как колокол.

— Добра баня. А у тебя, Павлович, разве худая баня? У тебя баня тоже хорошая.

— Не скажу, что худая. Вот хочу котел вмазать, на белую переделать.

Они мирно беседовали, я слушал их добродушные голоса, и мне вспоминались плотницкие рассказы.

Какой-то чертик, вертлявый и хитрый, подзуживал меня все время. И вот я налил еще и приготовился говорить речь, речь об их жизни: мне казалось, что надо наконец поставить точки над «и».

— Вот вы оба жизнь большую прожили, а нынче друг с другом неделю не здоровались. Вы бы сели, да и разобрались, кто прав, кто виноват. В открытую!

Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами.

Авинер Козонков решительно отодвинул стакан с чаем:

— Я тебе, Констенкин, так скажу, что колхоз упекли. Упекли из-за худой дисциплинки. Народ совсем осатанел, напряжение у нервов ослабло. Приказов не слушают, только пекут белые пироги.

— Полно, Авинер Павлович, отстань. Разве дело в этом? — Олеша поставил стакан вверх дном.

— Нет, не отстану! Я, бывало, повестки пошлю — так на собранье-то летят пулями, дисциплинка была, не в пример теперешней роли. Все бегали!

— Бегали. И не хошь, да побежишь. Кто сусеки-то до зернышка выгребал, не ты, что ли? Колхоз колхозу, Козонков, большая разница. Я, к примеру, в ТОЗ-от вступил без твоего нагана. А вы с Табаковым ТОЗ-от распустили, а сделали из него артель.

— ТОЗ распустили не мы с Табаковым.

— А кто?

— Директивка из центра пришла.

— Директива директиве разница. Бывало, директива была спущена на озими коров пасти. А до этого, ежели овца забредет в озимь, так хозяева под суд за это. Тебя хлебом не корми, подай директиву. Тебя и район укорачивал. Хорошо, что не ты один был в ячейке-то, были и хорошие люди.

— А ты как был классовый враг, так и остался, — повысил голос Козонков. — Дело ясное.

— Нет, не ясное. У вас с Табаковым все было уж больно просто: в деревне по одну сторону бедняки, а по другую кулаки. А про меж них стоит середняк — и ни рыба вроде, ни мясо. Три слоя. А слоев-то было не три, а все тридцать три, ежели не больше. Чего говорить. Сапожников и тех прижали, смолокуров. Мол, частная анициатива, свое дело.

— А что, разве не свое?

— Дело. Конечно, свое дело. А чье оно быть должно? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишу-то прищучили, сапожника-то. Теперь, ежели рас-

судить с другого боку, как это Кузя Перьев в кулаки угодил? Ведь у него не то что чего, так и коровы не было. В баню пойдет — рубаху сменить нечем. Потому что Табакова обматерил в праздник, вот и попал в кулаки. А Колюха Силантьев был справный до колхозов, он и в колхозе тоже был справный, все время ходил в ударниках.

— Ты, Смолин, мне зубы не морочь, туманом глаза не застилай. Вон возьми Лихорадова. Дача лесная, торговля на всю округу.

— Торговля — дело другое. Укоротили Лихорадова, ладно и сделали.

— А Федуленок чем лучше? Тоже частная собственность.

— Так ведь Федуленок сам на земле вырастит да продаст. Без этой торговли людям нельзя ни в городе, ни в деревне. За такую торговлю и Ленин стоял. А Лихорадов, тот продавал купленное. Есть разница?

— Нет разницы. Тот же сплататор, тот же буржуй и Федуленок.

— Вот тебе раз! Да кого ж Федуленок сплоататничал? Разве свой горб за свою же шею.

— Людей нанимал на жнитво и на сенокос.

— Ничего он не нанимал. Помочи делал, так помочи и вы с Горбунком делали.

— У Федуленка одних самоваров было два или три.

— А тебе кто мешал самовары-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досыта не выспишься, тебя из избы калачом не выманишь.

— А что, я не двужильный.

— Ну, а Федуленок, двужильный?

— Жадный.

— Работящий. Скуповат был, верно. Когда земля после революции стала по едокам, ты и свои полосы залужил. А он вон две подсеки вырубил, на карачках выползал.

— Жадность одна.

— Трудился мужик, землю обласкивал, а вы с Табаковым его под корень.

— Ладно и сделали. Тебя бы надо с ним заодно, ты контра была, контра и есть, все время против власти.

— Ты сам контра-то, это вы с Табаковым власть только и похабили. Ты за ее палец о палец не колонул, а Федуленок за ее воевал с Колчаком. Чья она, выходит?

— Не твоя.

— Чья?

— А бедняков.

— Вот опять за рыбу деньги. Я против бедняков хоть слово сказал, которые работали? Ведь оне, бедняки-то, которые работали, сами при новой власти из нужды выходили. А вы с Табаковым дела себе искали. Выходить им не давали. А которые не работали, дак оне и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли.

— А что я? Что я? — Козонков встал.— Ты что, такая мать, меня при людях срамишь? Я что, живу, что ли, беднее других? Я тебе вот шарну сейчас...

20

Не успел я ввязаться, как Авинер обеими руками схватил Олешу за ворот и, зажимая в угол, начал стукать о стену

лысой Олешиной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели, армянский коньяк потек по ногам. Козонков со звонким звуком стукал и стукал о стену Олешиной головой, я еле отцепил и оттащил его от Олеши. Ситцевая рубаха Олеши лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Олеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авинера с другой стороны. Они сцепились опять, и упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы.

Я начал их растаскивать, еле погасив собственное бешенство. Мне вдруг тоже нестерпимо захотелось драться, все равно с кем и за что. Однако, вспомнив, кто хозяин дома, я опять начал разнимать драчунов. Но что было делать? Если схватить за руку Олешу, Авинер тут же воспользуется перевесом и заедет ему кулаком в нос, если схватить за руки Авинера, то же самое сделает Олеша. И получится, по выражению Олеши, «перенесение порток с вешалки на гвоздик». Я прискакивал около них, стараясь подступиться то с той стороны, то с этой и рискуя обратить против себя обоих. Тут-то, в самый разгар поединка, и появилась на пороге Олешина Настасья! Старуха пришла проведывать Олешу, увидела побоище и, ругая старика то дураком, то пеньтюшкой, виня одного его, оперативно погасила смуту... Она утащила Олешу домой, а я помог Авинеру встать, выждал момент и под ручку повел тоже домой.

— Я! Да я... — Авинер еле переставлял ноги. — Я за дисциплинку родному брату... головы не пожалею.

— Брату? Головы?

— Отлетит на сторону!

У своего дома он несколько поостыл. Обнимая меня и приглашая к себе, сказал, что у него есть еще чекушка, что жалко, что у него часы на руке, а то бы он этому Олеше дал звону...

Я вернулся домой. Сел у окна и долго глядел на луну. Часы, сбитые с толку потасовкой, остановились. Олешина шапка, раскинув уши с завязками, валялась на полу. Тишина в доме стояла абсолютная. Я равнодушно улез на печь, равнодушно, даже не противясь своей тоске, лег...

Я не помнил, сколько часов подряд не вставал, не топил печь. Сквозь дремоту я ощущал характерное пощипывание в горле — верный признак надвигающегося гриппа. Все тело ломило, появилась нудная головная боль и сухость во рту, поднялась температура. В избе совсем выдуло. Я лежал на остывающей печи и тупо глядел в потолок, потом забывался, и меня окружали кошмары. То мне снилось, что я совсем раздет, сижу голый, а кругом люди, то погружался в какие-то иные миры. Гудел в ушах, бил по темени неведомый колокол. Я пытался увидеть этот колокол, но в тумане маячила одна развороченная колокольня и почему-то Авинер Козонков кидался оттуда осколками кирпичей. Осколки летели градом, я старался убежать, а ноги не слушались. Вдруг колокольня стала не колокольня, а баня, и Петя-кузнец с загадочным видом ходил около, ища под углами полтинники. И баня, и Петя-кузнец растаяли, исчезли, я услышал вопль необъезженного жеребца, а бригадир почему-то душил жеребца Олеши-

ной шапкой. Жеребец вдруг превратился в Авинерова кобеля и начал фамильярно меня обнюхивать.

Стукнули ворота.

Я с усилием прояснил сознание, шевельнулся. Неожиданно вошла Настасья, подняла с пола Олешину шапку:

— Ой, бес, ой он бес, до чего напился, шапку потерял! А я, Констенкин, за тобой пришла-то. Ежели, говорит, без него, дак домой не ходи.

— Не могу, Настасья, совсем заболел.

— Занемог?

— Занемог.

— Ну так я тебе малины сушеной принесу. Ты кряду и поправишься.

Настасья ушла, вплетаясь в кошмары. Колокол редкими ударами бил где-то далеко-далеко, в глазах расплывались радуги. Тоска душила со всех сторон, потом, когда мысль прояснялась, меня охватывала брезгливость, физическое отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распадалось...

Я вспоминал вчерашнюю драку с отчаянием, во мне копилась ненависть к обоим ее участникам. Постой, а какого черта надо тебе? Что ты-то хочешь в этом споре? Я окончательно запутался...

Голова разламывалась от боли, и хотелось плакать, но я тут же хохотал над этим желанием: «Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях, я вызвал из прошлого притихших духов. А потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. Потому что ты эгоист и тебе больше

всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок. Примирил, называется. Стук лысой Олешиной головы о стену так явственно звучал в ушах, что я покраснел от стыда и горечи: о черт, зачем было вмешиваться? Теперь они возненавидят меня оба. Они опять стали врагами, а враги не любят не только того, кто их ссорит, но и того, кто старается примирить. Это уж точно. Их вражда не помешает им блокироваться против тебя. И ты никогда не проведешь спокойно свои двадцать четыре здесь, на родине. Ах, вот, оказывается, в чем дело? Сразу бы так... Ты и тут думаешь только о себе. Двадцать четыре без выходных... Да нет, дело не в этом. Интересно, в чем? А в том... В чем? В том, что...

Какая-то мысль комаром вертелась около уха, но я никак не мог ее изловить. Все перемешалось в моей голове: «Надо встать. Надо прежде всего встать. В гробу я видел этот дурацкий грипп! Сейчас пойду к Настасье она заварит мне сушеной малины. И пусть Олеша ненавидит Козонкова, тот заслужил Олешину ненависть. Пусть Авинер ненавидит Олешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да! Да! Да!»

Я не помнил, как надел валенки. Слез с печки, пошатываясь, оделся и вышел на улицу.

* * *

Ворота Олешина дома захлопнулись, и я, качаясь от слабости, поднялся по лесенке. Взялся за скобу...

Боже мой, что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые

ветераны, беседовали Авинер и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар.

— А мы тебя, Констенкин, давно ждем Ну-ко, давай садись. Занемог, что ли? — сказал Олеша.

— Да нет, ничего вроде.

— Мы тебя враз вылечим.

Олеша налил полстакана бурого чая. Настасья заварила нового чаю, уже с малиной. Я растворил сахар, и Олеша прямо из бутылки дополнил стакан. Налил себе и Козонкову.

— Мы уж тебя давно, парень, ждем-то, вон и Настасью за тобой посылали, — сказал Авинер и поднял стопочку.

— Дай бог не последнюю, — сказал Олеша.

От пунша мне стало жарко. Озноб за плечами растаял, и в глазах потеплело от чего-то непонятного. Или я старею? Ах, черт побери, как все-таки хорошо жить.

— Ну, поехали!

Сквозь пелену уходящей болезни я смутно ощущал разговор Авинера с Олешей.

— Нет, Авинер Павлович, я тебя не переживу.

— Может, и ты, Олеша, меня топтать будешь.

— Оба, Авинер Павлович, в одну землю уйдем. Я уж подсчитал, на гроб надо сорок восемь гвоздей. Только ежели мне там не понравится, так я обратно прибегу, возьму увольнительную. А вот чего, парень, сделай мне гроб на шипах! Ежели умру, сделай гроб на шипах, чтобы честь по чести! Да с гармоньей похороните. Заиграют, дак я хоть ногой лягну! — Олеша даже притопнул.

— На шипах. На шипах домовина, конечно, не то, что на гвоздях, оно поплотнее...— Козонков пожевал хлеба.

— Вот и давай уговор сделаем.

— Давай. Я не супротив,— сказал Козонков.

— При свидетелях!— Олеша даже привстал.

— Ну!

— Дай руку, что сделаешь на шипах?

— Да, может, я раньше умру-то.

— Ну, тогда и я тебе на шипах.

Старики потискали друг другу ладони, и Олеша вдруг весело, с душой спел частушку:

Плясать-то училнсь
Еще мальчиками,
Дотыкались до земли
Однеми пальчиками!

Настасья со смехом замахала на него руками:

— Ой-ой, что с ним будет-то! Гли-ко он распелся-то!

— А мне теперь что! Вот ты завтра с Костей уедешь, а я без тебя и женюсь на молоденькой. В больницу схожу, все анализы сдам. Пойду в Огарково свататься!

Потом они оба с Авинером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню.

Я не мог им подтянуть — не знал ни слова из этой песни...

Моя жизнь

Автобиография

Родилась я в Ленинграде на Васильевском острове в апреле месяце тридцатого числа одна тысяча девятьсот тридцать второго года. Наша квартира была сначала на третьей линии, потом нам дали другую, и мы переехали к Нарвским воротам.

Папу я хорошо запомнила. Он был высокий, веселый, работал слесарем на заводе имени Кирова. Когда его оставляли на вторую смену, я каждый раз не ложилась спать. Помню, мама все время меня ругала, а я плакала и никак не хотела уснуть. Он приходил домой в рабочей одежде, и я засыпала, пока он переодевался и мылся в ванной. А утром я вставала раньше и ходила на цыпочках около его кровати, мама нам с братом Павликом не давала шуметь.

Мама у нас имела среднее образование. Она все собиралась пойти на работу, но когда родился мой второй брат Витя, ей опять пришлось сидеть дома. Правда, вся обстановка у нас была, каждый месяц что-нибудь покупали. Но я тогда еще не задумывалась над этим, только слушала разговоры.

Наверное, это было самое счастливое время в нашей семье. Мы часто ездили в Петергоф и в Гатчину, ходили в гости к маминой сестре тете Нине, но тут началась война.

Было лето, мне исполнилось девять лет. Я собиралась осенью пойти уже во второй класс. Однажды утром я пробудилась от ка-

кой-то нехорошей тишины. Отец за столом разбирал свои документы. Павлик и маленький Витя еще спали, а мама сидела напротив отца и плакала.

На следующий день объявили мобилизацию. Папа ушел в военкомат уже с вещевым мешком, с кружкой, ложкой и полотенцем. Мы всей семьей провожали его до трамвая. Помню, как папа перецеловал нас троих, потом обнял маму и сказал: «Ничего, Клава, — так звали мою маму. — Ничего, Клава, учти, что война будет короткая. Месяц, два — и управимся, опять все будем вместе».

Мама рассказывала, что перед отправкой на фронт он в лейтенантской форме еще раз приходил домой, но это было ночью, и я его не видела больше. А через месяц нам пришло извещение, что он пропал без вести. В тот же день был первый большой налет на Ленинград. На этом, можно сказать, кончилось мое счастливое детство. Мама каждый день плакала о папе. Все продукты мы получали по карточкам. К нам переехала жить тетя Нина — незамужняя мамина сестра. Первого сентября она повела меня в школу во 2-й класс, а обратно я прибежала сама, но тетя Нина каждый день стала водить меня. Мама работала по ночам, на дежурстве в госпитале, днем Павлик и Витя оставались с ней, и тетя Нина водила меня в школу. Однажды она повела меня в школу, и только мы прошли два квартала, как сразу объявили воздушную тревогу. Помню, посреди улицы стоял пустой трамвай. У него чего-то работало внутри, а ни вожатого, ни людей в нем не было, все скрылись. Тетя Нина схватила меня в охапку и потащи-

ла в бомбоубежище, а из моего портфеля выпал пенал — и я заплакала. Мне было жалко карандаш и резинку. Тетя Нина все же успела схватить пенал, толкнула меня в подвал, на узкую лестницу, а я упиралась и не хотела идти. Потому что было тихо и нигде никакой бомбежки не было, только по радио все говорили и говорили, чтобы мы шли в убежище. Мне хотелось посмотреть на немецкие самолеты, думалось, что они совсем не страшные, и я все хотела бежать вверх по лестнице. Но тетя Нина крепко держала меня за руку. Помню, что в подвале сидело уже много людей, многие весело разговаривали. Вдруг все сильно вздрогнуло, и двери распахнулись. Потом так грохнуло, что я завизжала от страха. Больше ничего не помню. Помню только, что когда очнулись, то в подвале было темно, люди кричали кто что. От пыли нечем было дышать. Тетя Нина прижимала меня к себе, а я прижимала свой портфель с пеналом и книгой для чтения.

Когда мы вышли наверх, я увидела тот же трамвай уже с народом и вагоновожатой, все было как и раньше. Но когда мы с тетей Ниной подошли к школе, то увидели, что на этом месте никакой школы нет. Дым шел от большой кучи кирпича, известки и земли. Дом, который был рядом со школой, тоже развалился, пожарники и дружинники кричали и бегали. Машина с голубым кузовом стояла рядом, в нее затаскивали что-то страшное.

Тетя Нина охнула и потащила меня домой. С того дня я уже не ходила больше в школу. Зимой у нас перестало работать паровое отопление. Тетя Нина надевала на нас все одеж-

ки, какие были в шкафу. Маленький братик Витя заболел воспалением легких. Мама сходила за врачом, врач принесла каких-то капель в бутылочке и велела давать Вите утром и вечером. Но температура у Вити все не снижалась, и он умер. Я не могла понять, что это значит умер, и все спрашивала, почему Витя не говорит. Мама плакала. Тетя Нина завернула Витю в простыню, положила в чемодан и поехала куда-то на трамвае. Она вернулась домой без чемодана и дала нам с Павликом по прянику. «Вот, Танечка, — сказала она, — ешь да вспомяни Витю».

Я долго берегла этот пряник.

По карточкам уже не давали почти ничего. Нам все время хотелось есть, мы с Павликом сидели в пальто и в шапках, играли на полу около камина. Этот старый камин тетя Нина очистила, соскребла краску и сделала из него печь. Мы ломали забор во дворе и топили, но тепла было почему-то мало, а дыму много. Наконец тетя Нина где-то в другой комнате нашла задвижку и открыла ее. Дым с тех пор перестал валить в комнату. Тетя Нина привезла откуда-то полмешка мерзлой картошки, мы варили картошку в нашем камине.

Воду мы запасали в большую дубовую бочку, колонка работала редко. Бочку эту тоже прикатила откуда-то тетя Нина.

Как-то из ее разговора с мамой я услышала, что блокаду вот-вот прорвут, что скоро начнется большое наше наступление. К этому времени мы с Павликом уже привыкли к бомбежкам и наперегонки бегали в бомбоубежище. Тетя Нина не успевала за нами.

У нее уже опухли ноги, и она все ругалась, но мы знали, что она ругает нас не взаправду.

Однажды, это было уже весной, мы два дня совсем ничего не ели. Мама вернулась с дежурства, еле переставляя ноги, и закричала: «Где она? Опять в церковь ушла...» Мы с Павликом оба молчали. Нам было жаль тетю Нину, мы любили ее и не понимали, почему мама так ужасно ругает ее. Когда тетя Нина вернулась, мама опять начала ее ругать, потом расплакалась, упала на кровать и зажала лицо подушкой. Тетя Нина присела к ней: «Какое тебе дело, Клава, что я в церковь хожу? Я тебе не указчица, не мешай и ты мне. Я никому ничего худого не сделала...»

Она ходила в церковь каждую неделю и рассказывала, кто что говорит. Ходили самые страшные слухи. Тетя Нина узнала от кого-то, что где-то составляются списки для эвакуации, что отправлять в первую очередь будут красноармейских жен и детей. Она долго уговаривала маму на то, чтобы выехать из Ленинграда. Мама не соглашалась сперва, но потом тетя Нина ее все-таки убедила. Не знаю уж, как это удалось тете Нине. Мама начала хлопотать о выезде, и я помню, как после дня моего рождения нас с Павликом одели и вывели в другую комнату. Тетя Нина и мама собрали два узла и два чемодана. Потом какая-то машина привезла нас далеко за город, и я помню только, что там было много людей, тоже с чемоданами и детьми. Кругом стоял плач и крик. Тетя Нина приехала нас провожать, сама она ни за что не хотела эвакуироваться. Мы услышали гул самолетов и бросились в какой-то сарай, нас чуть не разда-

вило машиной. Поднялся ужасный шум и паника. Но оказалось, что самолеты летели наши, а не немецкие. Я помню, как какой-то военный с наганом в руке вскочил на крышу сарайчика, начал стрелять в воздух. Потом он стал выступать и говорил, что это позор для ленинградцев, что нельзя оставлять город в такую минуту. Нас с Павликом опять погрузили в машину. Мы вернулись в город, но уже не домой, а к тете Нине. Мы остались у нее, потому что в этот район немецкие снаряды долетали очень редко.

Не буду и вспоминать, что мы пережили за это лето и зиму. Мне все равно никто не поверит. Когда прорвали блокаду, нас с мамой и Павликом вывезли из Ленинграда в Вологду. Это было в январе месяце сорок третьего года. Но я ничего этого не запомнила. Помню, как в Вологде меня кормили чем-то горячим с чайной ложечки и как маму прямо из вагона унесли на носилках.

Тетя Нина осталась в Ленинграде, и мы решили, что она умерла.

Все трое — я, мама и Павлик, — мы до самой весны пролежали в больнице. Сначала лежали в разных палатах, а после главврач — женщина — распорядилась, чтобы нас поместили вместе. Правда, в этой же палате лежали еще шесть человек женщин, не эвакуированных, а местных, из Вологды. Они как могли помогали нам, все нас жалели. Особенно одна, по имени тетя Паня, у которой вырезали язву желудка. Тетя Паня была на всю палату одна ходячая, когда я очнулась. Она увидела, что

я очнулась, и говорит: «Ну, вот, милая, и хорошо. Пойдешь теперь на поправку».

Я испугалась сначала. Но потом вижу, рядом Павлик и мама лежат, вроде бы спят. Едва поднялась. У Павлика шея как спичка, голова большая, еле держится, а сам уже сидит. Маму мы не стали будить, а тетя Паня достала из тумбочки что-то, в бумажке завернуто. «Нате-ко, — говорит. — Сколько дней берегла, никому не показывала». Я развернула бумажку, в ней были завернуты два коричневых орешка.

Тетя Паня и научила меня вязать крючком кружева. Когда она выписалась, то оставила мне этот крючок и две катушки ниток сорокового номера. Она оставила нам и свой адрес.

Павлик уже вовсю бегал по палате, а мы с мамой едва ходили, когда нас выписали. Дали пособие и направили в один район, в деревню. Мама даже не могла поднять чемодан. Оделись в свое, вышли и сидим на больничном крыльце. Не знаем, что делать. Больные идут мимо нас, поздравляют, а мы сидим и сидим, как будто отдыхаем. Я говорю маме: «Мамочка, попроси, чтобы нас на лошадке отвезли». А мама боится спросить и говорит: «Молчи, Таня, а то нас не отпустят, опять в больнице оставят». Встала, хотела взять чемодан и чуть не упала. Вот мы и опять сидим. Видно, кто-то сказал про нас главврачу. Она прибежала. «Что вы, — говорит, — разве можно так? Сказали бы сразу». В больнице была своя лошадь, один старичок возил на ней воду. Забыла я, как звали того старичка. Он вычерпал воду, привязал наш чемо-

дан к бочке и говорит: «А вот вас-то куда, голубчики?»

Места на повозке не было. Тогда он подсадил меня и Павлика наперед, взял длиннющую такую веревку и привязал нас к бочке, чтобы не упали. А маму пристроил сзади. Сам взял вожжи и пошел рядом с повозкой. Так и приехали на вокзал. Старичок сперва нас отвязал и снял на землю, потом чемодан: «Ну, говорит, извините, пожалуйста, а мне некогда, надо ехать». И мы остались одни на вокзале. Мама все время боялась за наш чемодан, да и с билетами было очень трудно. У кассы многие стояли в очереди третьи сутки. Мама сидит на чемодане и плачет. Нас увидел милиционер и спрашивает, кто мы такие? Куда едем? Когда он все узнал, то пошел куда-то, потом вернулся и спрашивает: «Деньги-то есть у вас?» И сказал, сколько надо на билет до нашей станции. Он взял у мамы деньги и примерно через час принес нам билеты, один взрослый и два детских. Он и в вагон сесть тоже помог. Мама открыла чемодан, достала красивый, еще папин галстук и подает ему. А он замахал руками: «Что вы, говорит, что вы. Езжайте, еще пригодится». И ушел. (Позже, когда я уже стала большая, я его увидела в Вологде. Хотела подойти, сказать или поблагодарить его за тот случай, но постеснялась.) Вечером мы приехали на свою станцию, соседи по вагону нам помогли выгрузиться. И вот стоим на полотне, опять не знаем, что делать. Поезд ушел, все стихло. Станция совсем маленькая. Колхоз наш назывался «Красный пахарь». Но мама не знала даже, в какой он стороне от станции

и сколько до него километров. Мне хотелось пить, а Павлик просил у мамы хлеба. Какая-то тетя с ведрами пришла за водой к водокачке. Она остановилась и спросила у мамы, чьи мы, откуда и куда едем. Узнала, как нас зовут. Помню, она сначала отнесла воду домой, потом пришла к нам опять, помогла зайти на вокзал и сказала, что надо конных возчиков, которые возят на станцию ивовое корье. Она сказала еще, что некоторые останавливаются у них в доме и что она пошлет их за нами сюда, когда приедут из «Красного пахаря».

Мама дала нам поесть, уложила в вокзале на широкой скамье. Мы сразу уснули. А ночью я, даже не помню как, очутилась в повозке. Открыла глаза и вижу, как лошадь мотает хвостом, слышу, как скрипит наша большая телега. Павлик спит, а мама разговаривает с девушкой, которая сидела на лошади. Помню только, что девушка была обута в сапоги, от них пахло дегтем, еще помню, что ночь была светлая и комары очень кусались. Мама прикрыла меня платком, я опять уснула, но пробуждалась еще много раз.

Лошадь все идет и идет, телега трясется и скрипит. Так мы ехали всю ночь, а утром я пробудилась от солнышка. Девушка поила нашу лошадь из какой-то речки. Потом она распрягла ее, но хомут не сняла. Привязала один конец вожжей к уздечке, а другой к телеге и пустила лошадь пастись. А я опять уснула и проснулась только тогда, когда снова поехали. Никогда ни я, ни Павлик не видели столько травы! Проезжали мы и через большие деревни, и через длинный лес. Потом про-

ехали мост и подъехали к деревне. Девушку, которая нас везла, звали Капой. Она остановилась у одного дома и говорит: «Вот, наверное, тут вы будете жить. Мы еще на первый май полы вымыли». Это и был наш «Красный пахарь». Нас здесь ждали давно. Мама оставила нас с Павликом в доме, дала хлебца и пошла в сельсовет в другую деревню. К нам в избу сразу набежало множество ребят из разных домов. Они молча глядели на нас, сидели, сидели на лавках и вдруг, как по команде, выбежали на улицу. Павлик заплакал: «Почему убежали все?» А я и сама не знала почему. Мы вышли тоже на улицу. Увидели Капу, которая нас везла. Капа велела своему маленькому брату глядеть за нами и не обижать, он пообещал, а она повела куда-то нашу лошадь. Капин брат подошел к нам и спрашивает: «А вы окувыренные?»

И мы стали играть на лужке.

В тот же вечер, когда мама вернулась из сельсовета, к нам пришло так много народу, что на лавках не было места. Все принесли нам чего-нибудь: кто соли в спичечном коробке, кто прошлогоднюю брюкву. А когда одна тетя принесла и поставила в кухне бутылку молока, мама совсем расплакалась и не знала, что говорить.

Все просили рассказать, кто мы, откуда, какие есть у нас родственники и где они, сколько лет нам с Павликом и все, все. И с этого первого дня к нам часто стали ходить люди. Они слушали, а мама подолгу рассказывала о ленинградской блокаде.

Так мы начали жить в деревне. Нам рассказали, что дом, который нам отвели, стоял

много лет заколоченный, что хозяева уехали из деревни во время раскулачивания. В доме так все и осталось нетронутым, вплоть до чугунов и ухватов. Мы начали поправляться, хотя в деревне давно не было никакого хлеба. Люди питались какими-то провеянными отбросами и костерой, сушили ее в печах, толкли в ступах или мололи на ручных жерновах. У некоторых была еще прошлогодняя картошка и брюква. Собирали ягоды и грибы, щавель и гигли. Все с нетерпением ждали свежей картошки. Корова была уже не в каждом доме. Некоторые держали одну корову на два или три хозяйства. Молоко, почти все, надо было сдать государству. Не помню, кто посоветовал нам посеять ячмень. Мама еще успела вскопать огород и посеять ячмень. На хороший атласный платок она выменяла у Капы лукошко семян. Мы боялись, что ячмень не взойдет, либо не вызреет и что наши труды пропадут. Но прошел дождик, и ячмень взошел. Он рос очень быстро. Мы с Павликом каждое утро, как пробудимся, бежим смотреть. Всходы были большие и дружные, вскоре у них появились зеленые усики. Мама тоже радовалась вместе с нами. В местном сельпо по решению сельсовета маме выписали две иждивенческие карточки. Мы каждый месяц получали в магазине по шесть килограммов муки. Хотя еды все равно нам не хватало, все колхозники маме завидовали, в колхозе они не получали и этого. Карточек колхозникам не полагалось, их получали только учителя и другие служащие. Многие ходили с толстыми опухшими ногами, рвали клеверный цвет, сушили и толкли в ступах. В эту муку добав-

ляли толченой картошки и пекли, но лепешки не получались и рассыпались на противне. Приходилось брать их щепотками и сыпать в рот. От какой-то болезни начали дохнуть колхозные кони. Их обдирали, разрубали и делили куски по жребию. Кто-нибудь из стариков или подростков отворачивался и закрывал лицо кепкой, а другой указывал на кусок мяса и спрашивал: «Этот кому?» Тот, кто отвернулся, должен был назвать фамилию и выкрикивал наугад, поэтому не было никакой обиды.

Летом мы с мамой ходили сперва косить, потом дергать лен. Павлик сидел в траве, а мы дергали вместе с другими женщинами. Я быстро научилась вязать льняные снопы. За два месяца мы с мамой выработали сорок два трудодня. Бригадиром в деревне была одно время та самая девушка Капа, которая везла нас со станции. Она выписала на меня отдельную трудовую книжку и записывала в нее все, что я делала. «Вот, Таня, — говорила она, — смотри, сколько у тебя трудодней, скоро будет не меньше чем у мамы». К нам часто бегали Капины братики, мы купались на речке и собирали чернику. Еще мы очень подружились с одной семьей по фамилии Смирновы. Но их почему-то все называли Феклухиными, потому что у бабы Густи было прозвище Феклуха. Однажды мама послала меня к бабе Густе за ножницами. Я пришла и говорю: «Тетя Феклуха, дай ножницы, меня мама послала». Она дала ножницы, погладила меня по голове и говорит: «Ты, матушка, меня так не зови. Зови Августой либо бабушкой».

Баба Густя жила одна в небольшой избе. У нее было сначала пять сыновей, но троих уже убили на фронте. Двое тоже были на войне. Один — женатый — оставил дома жену Марию, которую мы звали просто Маня. У Мани имелось трое детей, одна девочка Катя была моя ровесница. Баба Густя половину времени проводила у них, с Катей они часто ходили с корзинами щипать клеверный цвет. Усядутся в клеверище и щиплют. Потом умнут корзины и опять щиплют. Однажды председатель колхоза ехал на лошади, увидел их на клевере и закричал, но баба Густя сама обругала его. У Смирновых, как и у всех, почти никогда ничего не было есть. Они всех раньше начали подрывать свежую картошку. Но картошка была еще только по пуговке, одни беленькие зародыши. Однажды Катя прибежала к нам и опять попросила наши ножницы. Мамы дома не было, я дала Кате ножницы. Дня через три Катя отозвала меня за палисадник и шепотом рассказала, зачем нужны были ножницы. Оказывается, они с бабушкой ходили ночью в поле, в колхозную рожь отстригать колоски. За один раз наотстригали решето колосков. Баба Густя тихонько вылущила зерна, провеяла, высушила в печи и смолола на ручных жерновах. Потом она сварила из этой муки вкусную кашу. Правда, опять не вытерпела и добавила в нее клеверной черной муки.

Я хорошо помню тот день. Незадолго до этого маленький Катин братик сказал ребятишкам на улице, что бабушка варила «лзаную» кашу. Через день председатель колхоза взял двух понятых—учительницу и налогового

агента — все неожиданно пришли к Смирновым. Они долго ходили по сараю, в летней и зимней избе. Уже собирались было уходить, но маленький Катин братик пальчиком показал под комод: «Тут лесето».

Открыли комод и увидели решето с колосьями и нашими ножницами. Составили сразу акт на бабу Густю и Катю, но тут с поля прибежала тетя Маня. Она заплакала. Говорили, что она испугалась за Катю и сказала, что ходила стричь колосья не Катя, а она, то есть тетя Маня. Баба Густя громко ругалась на всю деревню. Я помню, как тетю Маню, Катину мать, вызывали в сельсовет на следствие, а потом вызвали в район, на суд, и больше не отпустили. Мамины ножницы увезли в район как доказательство. Так они там и затерялись. Тете Мане дали полтора года заключения. Баба Густя забрала Катю и двух ее братиков к себе в избушку. Они и жили вчетвером больше года, пока тетя Маня не вернулась из заключения.

Наш ячмень в то лето вырос очень хороший, баба Густя помогла маме сжать его серпом. Она связала из него снопы, мы высушили их в бане. Потом разостлали на лужке большую подстилку и начали околачивать снопы колотушками, потом провеяли зерно на ветру. Мы всю зиму варили ячменную кашу. На следующую весну мама выменяла на папин костюм мешок картошки, и весной мы посадили целых четыре грядки. Но это уже было в сорок четвертом году, а я помню еще лето, которое было первое после нашей эвакуации.

В нашем колхозе стояла тогда небольшая воинская часть. Красноармейцы косили сено для артиллерийских коней. В нашей деревне жил старший лейтенант, но не все время, а приезжал недели на две, пока красноармейцы косили. Мы часто бегали к ним, они тоже ночевали в ничейном доме. Только старший лейтенант жил на квартире.

Один раз вместе с Катей мы пришли к ним и слышим, что в той половине дома очень шумно. Хозяйка унесла туда только что вскипевший самовар. Я видела, как побежали за вином в магазин двое больших ребятишек. Старший лейтенант дал им за это по одному разу выстрелить из нагана. Потом он подозвал меня и завел в ту половину дома. Мама сидела там за столом и пела песню «Прощай, любимый город». Раньше эту песню часто пел папа. Старший лейтенант усадил меня за стол, дал большой кусок сахару, но я заплакала, бросила сахар на пол и убежала домой. Мне было почему-то очень тревожно и грустно. Я весь вечер проплакала и все поджидала маму. Она пришла поздно, когда я уже уснула нераздетой. Я проснулась, но лежала не шевелясь, а мама укрыла меня одеялом и ушла в комнату. Я слышала, как наши ворота тихонько хлопнули и как кто-то вошел по лестнице в комнату. Павлик спал рядом, в нашем чулане. А я не могла уснуть, мне было почему-то тревожно и больно. Я не выдержала, вскочила на ноги и забежала в комнату. В комнате пахло папиросным дымом. Старший лейтенант лежал на маминой кровати и курил. Не помню, что со мной было. Помню только, что мама впервые в жизни за ру-

ку вытащила меня в коридор и побила. Я, рыдая, убежала из дому, спряталась в каком-то сарае, набитом сеном. Я решила тогда, что возьму Павлика и убегу от мамы. Меня искали по всей деревне всю ночь и на следующий день, а я не выходила из сарая, прислушивалась. Я вспоминала папу и ненавидела этого старшего лейтенанта. Я готова была сделать с ним что угодно. Меня нашла в сарае уже вечером баба Густя. Она увела меня к себе, утешила, накормила и успокоила. Но я хорошо знаю, что с того времени во мне что-то изменилось, какая-то тоскливая боль занозой засела в сердце и не проходит. Я знаю, что и до сих пор я не простила маме этого страшного лета. От папы не было никаких вестей.

Я заканчивала третий класс, когда пришел День Победы.

Все думали, что теперь, когда война кончилась, жизнь сразу наладится. Но в сорок шестом году опять начался голод, еще сильнее, чем во время войны. Я училась в шестом классе неполной средней школы, когда мама простудилась и заболела. Школа наша была в десяти километрах от нашей деревни. Мы жили при школе, ходили домой только на воскресенье. Питались почти одной картошкой. У некоторых не было вдоволь и картошки, но у нас никогда не было никакого воровства. В классе я была всех старше и всех рослее, от этого мне было все время стыдно. Ведь по годам я должна была учиться уже в восьмом. Однажды учительница зашла в класс и говорит: «Таня, я освобождаю

тебя от второго урока. Тебя на медпункте ждет мама».

Я пришла на медпункт, он был в другом доме, гляжу, маму, раздетую, осматривает фельдшерица. У мамы была сильная температура. Ее сразу одели, вывели из медпункта, закутали в санях в одеяло. Она только успела погладить меня по голове и сказать: «Учись, Танюшка, лучше выполняй домашние задания». Тетя Маня повезла ее в больницу за двадцать километров от нашей школы. Я подъехала с ними недалечко, а мама вся закутана. Тетя Маня гонит меня в школу: «Иди, иди, Таня, видишь какой холод!» Я заплакала и не слезала с саней, а мама и не слышит меня.

Она пролежала в больнице только дней десять и умерла,— мне сказали об этом на уроке ботаники. Я убежала из класса...

Так мы с Павликом стали круглыми сиротами. Павлика взяла к себе тетя Маня, а я еще успела закончить шестой класс. Нас решили отправить в детдом. Но тетя Маня попросила в сельсовете, чтобы Павлика пока не отправляли. Он временно остался в деревне, а меня отправили, это случилось летом.

Меня привезла в детдом тетенька из райисполкома, сдала под расписку директору. Директор побеседовала со мной и приказала одной женщине провести со мной санитарную обработку. Я еще не знала, что это такое. Сердитая тетка взяла меня за руку, отвела в баню и велела раздеться. Я стеснялась раздеваться при ней, а она закричала: «Ну, прынцесса, чего глядишь! Скидывай

шмутье да иди стричься». И она подошла ко мне с ножницами. У меня были большие косы, я в ужасе бросилась к двери. Но двери были заперты, я заплакала. Обе мои косы отстригли, и я не помню, как тетка мыла меня в холодной бане, как одевала в детдомовское...

В комнате нас жило восемнадцать человек девочек. Многие были старше меня, некоторые курили и говорили нехорошие ругательства. Я думала, что схожу с ума. Не знаю, как я прожила два этих месяца. Кормили нас плохо. Мальчишки жили в другом здании и подглядывали по вечерам к нам в окна. Они ругались и пели нецензурные частушки. Ко всему, я почти сразу же заразилась чесоткой, не знала, что делать, стыдилась сказать об этом и все время мучилась, особенно по ночам. К тому же я была самая рослая в комнате, и меня прозвали обидным нехорошим прозвищем. Я плакала и все вспоминала нашу деревню, Павлика, тетю Маню и бабу Густю.

Однажды у одной девочки пропало круглое зеркальце. Сказали, что это я украла его. На меня набросилась вся комната... Я вырвалась и убежала в уборную, а вечером после ужина решила убежать из детдома. Я помнила и знала дорогу к райцентру... После отбоя комната еще долго не спала, стоял шум. Зашла воспитательница — все затихли. А когда ушла — опять все по-прежнему, кто поет, кто плачет. Наконец все уснули. Я взяла из тумбочки мамину кофточку, потом тихо вышла в коридор. Наружная дверь запиралась ночью на ключ. Дежурный воспитатель, наверное, дремала в это время

в ленинской комнате, или ее совсем не было. Я потихоньку прошла к окну в конце коридора. Форточка в нем была большая, но размещалась высоко. Я бы могла в нее пролезть, но было высоко. Тогда я тоже тихонько прошла в уборную, я помнила, что одна доска там оторвалась и имелась узкая щель на улицу. Я долго расшатывала другую доску. В это время кто-то из девочек, слышу, бежит в уборную, я притворилась, что тоже... Девочка была сонная и из другой комнаты. Она убежала, а я опять начала расшатывать вторую доску. Расшатала и вылезла, хотя сильно разорвала платье.

Ночи стояли еще светлые, белые. Я бросилась без оглядки к заборчику, перелезла и даже не заметила, как до крови разодрала колено. Никто меня не окликнул. Я километра два бежала бегом по дороге. Когда-то я ехала тут на телеге с Капой, с мамой и Павликом.

Было уже утро, по деревням пели петухи, выгоняли коров. Я присела у одного гумна около дороги и заснула, пригрело солнышком.

Меня разбудило фырканье лошади, я вскочила. Какой-то дяденька ехал на телеге в нашу сторону, увидел меня и спросил: «А ты, девушка, чего тут сидишь? Садись, ежели по пути». Я сказала, что ездила в район за справкой. Он покачал головой и хлестнул вожжиной по лошади.

К вечеру мы подъехали к нашей деревне. Дяденьке надо было дальше, он покормил лошадь у нашей речки и поехал, а я огородами прошла к бабушке Густе. Избушка была за-

перта на замок. Никто в ней не жил. Я испугалась сначала, сердце так забилось, что не могу и дохнуть. Потом догадалась, что бабушка Густя, наверно, живет вместе с тетей Маней. Я подошла к дому...

Бабушка Густя пилила дрова вместе с Павликом. Она охнула, схватила меня в охапку, и обе не можем сказать слова. Она оглядела меня с ног и до головы, заплакала: «Ой, Танюшка... Дитятко... Ну-то, сердешная ты моя...»

Я разрыдалась, а Павлик глядел, глядел на нас — да и тоже зашвыркал носом. Тут я прижала его к себе. Такой он был худенький, маленький, чувствовалась каждая косточка...

На другой день я пошла с тетей Маней косить, к тому времени ее выпустили из тюрьмы. Всю неделю я ходила сама не своя, боялась, что отправят обратно. Но тетя Маня не отправила меня в детдом, а про бабу Густю и говорить нечего. За полмесяца я заработала двадцать пять трудодней.

Однажды я пришла с поля и слышу: в избе разговаривают. У меня обмерло сердце. Двери были открыты. Я прислушалась и слышу голос председателя сельсовета. Оказалось, что из детдома и райсобеса пришло распоряжение вернуть меня в детдом, а Павлика отправить в другой... Я спряталась на сарае в самом дальнем углу, и не выходила, председатель так и ушел. Ни тетя Маня, ни баба Густя не сказали мне ни слова, когда я пришла вечером в избу. А утром я опять пошла загребать сено и метать стог. Меня вызывали в сельсовет, я не шла. Председатель при-

ходил к нам, говорил, что отправим в детдом... Но до осени я заработала шестьдесят трудодней, председатель колхоза зачислил меня на ударную доску. Так и остались мы жить у тети Мани, нас больше не посылали в детдом. Однажды тетя Маня позвала меня в летнюю половину, открыла шкаф и говорит: «Вот, Таня, гляди сама, все цело, никуда не девалось ни одной ниточки». И выложила на стол женский костюм, три мамины платья, папину пыжиковую шапку и дамскую меховую муфту. Это было все, что осталось у нас с Павликом, остальное мы променяли еще задолго до этого.

Я взяла шерстяной мамин костюм и подала его тете Мане, она заотказывалась. Но я так ее просила взять, что тетя Маня расплакалась. Она ни за что не хотела брать. Тогда мы договорились, что костюм я оставлю себе, а она возьмет шерстяное серое мамино платье. «Что ты, Таня,— говорила она,— ты ведь считай что невеста. Все самой пригодится».

Но я видела, как она довольна и счастлива. Мы тут же примерили ей мамино платье. Муфту и папину шапку мы продали и купили взамен костюмчик Павлику. На остальные деньги тетя Маня заказала ему сапоги, а мне купили боты, и у меня теперь все основное было, кроме пальто. Зимой я носила фуфайку тети Мани и все же закончила семилетку.

Никогда, вовек я не забуду этих людей, ни тетю Маню, ни бабу Густю.

В сорок девятом году мне исполнилось семнадцать лет. Мой брат Павлик тоже под-

рос и уже перешел в четвертый класс. Но я все еще не ходила на деревенские гулянья. А ведь тогда в деревнях было много молодежи, хотя ребята и девушки подолгу жили на лесозаготовках.

Однажды сидим за самоваром, а тетя Маня чашку налила и говорит: «Ну-ко, Таня, допивай да сходи к церкви. Платье надень да и сходи. Чего раскраснелась-то? В твои годы гулять да гулять».

Я не знала, куда деть глаза, а она словно нарочно: «И нечего. Ты вон какая у нас баская девка».

Гулянья собирались летом у старой церкви. Там было красивое место, горушка и озеро. Ребята и девушки ходили вдоль дороги, плясали и пели. Издали я много раз видела, как парень, вначале как бы шуткой подхватывал девушку под руку, и они шли словно бы просто так. Потом уходили к соснам, в тихое место. Мне казалось, что со мной никогда так и не будет, что я хуже всех...

Тетя Маня чуть не за рукав поволокла меня в летнюю половину, сама достала из шкафа мамино платье и новые боты: «Скидывай свое детдомовское!— Я ведь все еще ходила в старом детдомовском платье.— Вон Капка пойдет, так и тебя возьмет!» Она и впрямь кликнула в окно Капу, ту самую, что привезла нас когда-то со станции. Капа зашла к нам и похвалила меня. Взяла под ручку, потащила с крыльца. И я пошла с ней к церкви, там уже наигрывала гармонь...

Никогда не думала, что и я буду такая счастливая, что все мое горе забудется. Я в то же лето научилась плясать и петь по-местно-

му, а осенью уже не пропускала ни одного гулянья. В соседней с нами деревне жил один парень Костя по фамилии Зорин. Не то чтобы он был очень красивый или в чем-то особенный. Парень как парень. Но один раз мы с ним на одной лошади возили снопы овса. Я подавала, он укладывал. Снопы эти короткие, толстые, надо было уметь их складывать, иначе воз мог развалиться по дороге в гумно. Мы наложили однажды очень большой воз и стянули веревками. Костя пошел рядом с лошадью, а я забралась наверх. Поехали. Дорога была неровная, воз растрясло. Я вдруг почувствовала, что веревки ослабли. Снопы поползли из-под меня и начали падать на дорогу. Лошадь остановилась, снопы ползут и ползут. Я их держу в одном месте, а они в другом ползут. И до того мне стало смешно, что я хохочу как дурочка. Так весь воз и разъехался в разные стороны. А Костя стоит посреди дороги, совсем растерялся. Не знает, что и делать. Лицо у него такое огорченное, напуганное стало, совсем как у моего Павлика, а ведь он был старше меня, и я боялась его. И так мне запомнились его огорченные глаза, что я вспоминаю их всю жизнь. Я перестала хохотать, мы сложили снопы заново. Ничего как будто и не было. Но с того дня я все время начала думать о нем. Я знала, что он ни с кем не ходит взаправду, и все ждала, что он подойдет ко мне на гулянье. И он подошел однажды, у всех на виду взял меня под руку. Сперва мы даже не знали, о чем говорить. Такой он был стеснительный, вежливый, что так и не осмелился ни разу поцеловать, хотя каждый раз провожал в де-

ревню. Вскоре его должны были взять в армию. Я пообещала ему, что буду ждать, что мы сразу поженимся, как только он вернется со службы.

Но, видно, не суждено было сохраниться нашему с Костей счастью. Судьба развела нас в разные стороны...

Зимой в наш сельсовет пришла разнарядка: отправить двух человек в ремесленное училище. Когда я узнала, что намечают меня, то обрадовалась, я уже мечтала тогда о городской жизни. Мне хотелось учиться дальше. Но что-то будет у нас с Костей? Тогда я еще не задумывалась о жизни всерьез, поехала в ремесленное, и он пришел меня провожать. Мы договорились, что будем часто писать друг другу. Так и кончилась моя деревенская жизнь, я стала совсем взрослая. Тогда все вокруг казалось таким интересным.

Я не хочу жаловаться на свою жизнь, хотя иногда приходилось и очень трудно. Было у меня все, и хорошее, и плохое. Не знаю уж, которого больше. Но в жизни хорошее запоминается больше.

В ремесленном я быстро привыкла. Училась хорошо по всем предметам. Правда, еды и здесь не хватало, но с детдомом нельзя было сравнивать. Кроме рабочей, нам выдали красивую шерстяную форму. Я попала в группу сеточников, мы изучали бумагоделательные машины и технологию бумажного производства. Раз в неделю нас строем водили в кино. Иногда после отбоя мы убегали в самоволку в горсад, смотрели на танцы. На второй год в училище стали устраивать

свои вечера, и я познакомилась с одним молодым человеком. Не буду говорить его фамилию. Звали его Сашей, он уже работал на комбинате. Однажды мы пришли с подругой на танцы в горсад. Меня провожал оттуда наш ремесленник Толя. (Забыла сказать, что мы давно уже дружили с Толей, договорились вместе поехать по распределению.) Толя был рослый, широкоплечий, но несмелый, хотя и занимался в боксерском кружке.

Мы идем с ним по темной дорожке, и я вижу: Саша стоит на пути с каким-то приятелем. Ждут нас. Только я хотела свернуть в сторону, а меня как будто кто-то тычет под бок, и я говорю: «Пойдем прямо, Толик!» Мы подошли, а они загородили нам дорогу: «А ну, отойдем на пару слов!»— говорит Толе Сашин приятель. Саша остался со мной, а они отошли за кусты и начали драться. Саша подхватил меня под руку и увел. С ним я встречалась раз в неделю, а Толика видела каждый день, и Толик не знал, что я встречаюсь с Сашей. Мне нравились они оба, хотя и по-разному. Толика я очень любила... Но с Сашей мне было всегда как-то жутко, так жутко, что я забывала сама себя. Он не жалел ни себя, ни меня. Однажды он пригласил меня домой на свой день рождения. Я пошла и вижу, что дома у него никого нет, кроме старой глухой бабушки. Он достал из шкафа бутылку десертного вина, нарезал хлеб и приготовил что-то еще, уже не помню сейчас что. Я еще ни разу в жизни не пивала вина. А он так просил меня выпить, что я выпила сразу две рюмки, все сразу стало каким-то другим и новым. Он

был такой смелый. У меня кружилась голова от вина и от чего-то еще, он начал меня целовать, и я не помню, как все случилось. Потом мне было ужасно противно. Я разревелась и убежала. Но через неделю Саша опять встретил меня и увел к себе. Он уже все знал и умел, он убедил меня, чтобы я ничего не боялась.

Все это время я по-хорошему встречалась с Толиком, но он ни о чем не догадывался, а Саша вдруг перестал показываться мне на глаза. Как-то я увидела его с другой девушкой. Он прошел рядом и сделал вид, что не знает меня. Я едва не вцепилась ей в волосы. Три дня ходила сама не своя, но тут как раз начались экзамены.

Мы с Толиком поженились через полтора года, на Урале, куда нас направили на работу. Фабрика была маленькая, квартир не давали. Мы снимали с ним комнату у одной хозяйки и жили счастливо, хотя с продуктами было все еще трудно. Но Толик хорошо зарабатывал, я тоже, и мы жили с ним очень дружно. Моего брата Павлика тетя Маня отпустила в детдом, он воспитывался там до шестнадцати лет, а после закончил ФЗО и работал каменщиком в Москве. Мы редко писали друг другу. Но вот однажды пришло письмо из деревни от тети Мани. Она писала, что баба Густя умерла и что Павлик разыскал в Ленинграде мамину сестру тетю Нину. Ведь никого из родных, кроме тети Нины, у нас с ним не было. Но к этому времени у меня родился первый ребенок. Поездку пришлось отложить. Когда наша Катенька подросла, мы с мужем Толей взяли от-

пуск и поехали к тете Нине, на мою первую родину.

Тетя Нина даже встретила нас на такси. Она, конечно, постарела, но была все такая же, ничего ей не сделалось. Хлопотливая, добрая. Теперь она ни от кого не скрывала, что ходит в церковь. Мой Толик ей так понравился, что они говорили с ним часами, а Катю она не знала куда посадить и чем накормить. Толик не особенно любил ходить по городу, мы с ним только и были что в Эрмитаже и в цирке. А я изъездила весь город, побывала у Нарвских ворот, где мы жили когда-то. Съездила в Петергоф, и на Васильевский, к нашей старой квартире. Однажды иду по Литейному и вдруг почувствовала, что за мной кто-то следит, идет чуть ли не по пятам. Оглянулась — какой-то парень остановился и смотрит. Господи, Костя Зорин! Он говорит: «Я уже полчаса иду за тобой, гадаю: Татьяна или не Татьяна».— «Татьяна, говорю, Татьяна». А сама так разволновалась, что даже покраснела. Правду говорят, что первая любовь самая крепкая... Мы прошли с ним всю улицу, он рассказал мне, что учится в институте водников, поступил после службы. «А ты почему, Таня, перестала мне тогда писать?»— спрашивает он. Я молчала. Что я могла ему ответить? Мы долго ходили с ним по набережной, устали, и он пригласил меня где-нибудь посидеть и перекусить. Он сказал, что рядом с общежитием есть хороший буфет. Мы зашли в буфет, но там ничего не было, кроме вина. «Пойдем,— говорит он,— у меня есть кое-что дома». Сам берет бутылку дорогого вина. Я, ничего не думая,

зашла к нему в общежитие. Два его соседа по комнате познакомились со мной, сказали, что у них билеты в кино, и ушли. Мы с Костей выпили, вспомнили про снопы. Не буду рассказывать, что было после этого. Костя был уже совсем, совсем другой. Ничего не осталось от того стыдливого деревенского парня.

Я вернулась домой поздно, и, наверное, от меня пахло вином. Толик не спал. «Где была?»— спрашивает. И так пристал, как смола. Я сначала отшучивалась, потом говорю: «Где была, там меня нет. Подумаешь, развел трагедию!» Он все сразу почувствовал, не стал больше со мной говорить. А я назло тоже молчу. Может быть, все бы и обошлось, если бы Костя не пришел на вокзал, когда мы уезжали из Ленинграда.

Толик почти до самого Свердловска не выходил из вагона-ресторана. А когда приехали домой, он сразу собрал свои вещи. Я умоляла его все забыть, говорила, что ничего не было, и сама верила этому, готова была упасть ему в ноги. Но он все же пошел к дверям со своим чемоданом и сказал: «Дочку я у тебя все равно заберу». И тут я взбесилась и закричала: «А вот тебе от моей дочки! Никогда, вовек так не будет! Иди, проживу без тебя!»

И он ушел. Так неудачно сложилась моя семейная жизнь. После этого я возненавидела всех мужчин. Правду говорила моя подруга Люська, что мужчинам верить нельзя, что им всем надо от нас только одно.

Я уехала с дочкой с Урала на Север в Воркуту, устроилась на работу табельщицей. Но

там был тяжелый климат. Тетя Нина писала мне, чтобы я отправила Катю к ней, я подумала и согласилась. Но сама тоже не осталась после этого долго в Воркуте, уехала в Ярославль. В Ярославле я поступила работать в один строительный трест в бригаду разнорабочих, говорили, что там быстро дают квартиры. Меня поместили в общежитие. Нас жило шесть человек в комнате, одни молодые девчонки, я была всех старше. В комнате часто появлялись парни из другого корпуса и солдаты из города. Комендантша после одиннадцати часов ходила по комнатам и всех выгоняла, но некоторым удавалось остаться в общежитии на ночь. Один сержант, по имени Виктор, ходил к нам в комнату к одной девушке. Ее звали тоже Татьяной, и работала она штукатуром. Ночью как-то я проснулась и не могу больше уснуть. В комнате темно, девушки некоторые спали, а иные еще не вернулись с танцев. Из Таниного угла слышен шепот, потом началась возня и вдруг, слышу, Виктор вскакивает, подходит в темноте к столу и пьет пиво прямо из горлышка. Походил, походил и опять на кровать к Таньке. И опять она его прогнала. Я закурила и говорю как бы шуткой: «Иди, Витя, ко мне, что ты ее уговариваешь». Даже сама не знаю как и выскочило. А он не долго думал — и ко мне...

После этого, конечно, мне нельзя было оставаться в общежитии, я сняла комнату за Которослью. Виктор дослуживал последние дни. Он сразу сказал, что никуда не поедет из Ярославля. Я подыскала ему работу на стройке, у него имелась специальность мон-

тера. Купила ему костюм и плащ, а когда забеременела, мы сходили с ним в загс.

Хозяева, у которых мы жили, были хорошие, добрые, за квартиру с нас брали немного. Дровами мы с мужем их обеспечивали со стройки. Когда мне дали декретный отпуск, я вдруг решила учиться на курсах бухгалтеров. Виктор был тоже не против, и я начала учиться.

Мы жили с Виктором очень дружно, никогда у нас не было никаких разногласий. Деньги он все отдавал мне, обе получки. Я получала еще алименты с первого мужа и копила на обстановку. Нам обещали уже однокомнатную квартиру. У нас рос хороший сын Миша, муж поговаривал уже и о дочке. Я закончила курсы и стала работать бухгалтером по снабжению в одной организации. Работа мне очень нравилась. Но квартиру мужу так все и не давали, и я начала хлопотать сама, через наше начальство. Представила справки о детях, меня поставили на очередь. Мы прожили два года на частных, пока нам не дали однокомнатную квартиру. Я как взяла ключ, так и побежала смотреть, и с работы не отпросилась. Господи, даже не верится! Комната большая, красивая, в кухне газ и вода горячая. Села на пол и реву как дурочка. Мы переехали в тот же день, в субботу устроили новоселье. Виктор позвал кое-кого да я своих счетных работников, всех набралось человек двенадцать. Никогда я еще так хорошо не чувствовала себя. Мы пели и плясали под радиолу, а наш Мишка не вылезал с балкона. Все смотрел на город и на

Волгу. Волга с пятого этажа была так хорошо видна.

Я уже говорила, что вначале семейная наша жизнь с Виктором проходила счастливо. Он сам съездил в Ленинград за дочкой Катей. (Тетя Нина написала в письме, что устарела, стали худые ноги, что девочка часто плачет.) Я очень боялась, будет ли он любить Катю. Но мои опасения оказались напрасными. Виктор никогда не отличал Катю от Миши, а наоборот, даже как будто больше уделял ей внимания. Однажды, когда девочка пошла в школу и показала ему дневник, он вдруг встал и расстроился. «Таня, говорит, почему ты записала ее не на мою фамилию? Хватит, я не хочу больше, чтобы кто-то стоял между нами». И он потребовал удочерить Катю и чтобы я отказалась от алиментов. Я сказала ему, не все ли равно, какая у Кати фамилия. Он так разозлился, что закричал на меня, а я не уступила ему. Тогда он как-то страшно посмотрел на меня. Взял из комода десятку и хлопнул дверью. Он пришел ночью пьяный, я не пустила его в постель. Мне было противно глядеть на него такого. Он ударил меня по щеке, дети проснулись. С этого дня у нас начались частые ссоры. Он был горячим, но я не уступала. В другой раз, когда я решила окрасить волосы, он спросил: «Таня, зачем? Кому ты хочешь понравиться?»—«Тебе, говорю, кому же больше».— «Тогда не крась, ты мне больше нравишься такая, некрашеная». Но я не поверила ему и покрасила, а он опять разозлился. С таких мелочей начинались все наши скандалы. Кончалось тем, что он уходил и на-

пивался, как свинья, а пьяного я не могла его терпеть. Однажды мои нервы совсем мне отказали. Я не пустила его домой. Он не приходил целую неделю, я ревела, и все валилось у меня из рук. Соседи сказали мне, что он ночует в подвальной кочегарке. Надо было сходить и увести его домой, а я не могла переломить себя. Он пришел сам, мы опять помирились, но не надолго. Опять все началось с какой-то мелочи. Но он взял себя в руки и ничего не стал мне говорить против. Отшил от себя всех дружков, поступил в вечерний техникум.

К этому времени меня избрали в местком, и мы переехали в двухкомнатную квартиру. Виктор закончил техникум и защитил диплом на отлично. Его поставили на хорошо оплачиваемую работу. Все было у нас хорошо, дети росли. Материально тоже положение улучшилось, но меня подстерегала другая беда, начались неприятности по работе. Не буду описывать, как это случилось. Дело было в том, что я однажды нечаянно подписала неверные документы. Строительные материалы, которые поступали на базу, директор экономил за счет пересортицы и фиктивного списывания. Эти сэкономленные материалы уходили не по назначению, и я в следующий раз отказалась подписать такие документы. Директор звонит мне по телефону и говорит: «Глушкова, зайди ко мне на минуту». Я пришла к нему в кабинет. Он начал издалека, говорил о коллективе, о том, что вот, мол, мы тебя избрали в местком, дали квартиру. А ты, мол, идешь против всех. Я разревелась. Он начал успокаивать и заверил,

что за все отвечает он. И я снова провела через бухгалтерию фиктивные акты на списание. А через месяц базу начала проверять спецкомиссия. Ревизор из финотдела облисполкома сидел у нас целую неделю. Он передал материал в следственные органы. Меня судили вместе с директором и другими работниками базы. Защитник на суде — женщина — говорила очень хорошо, но мне все равно грозило по статье от трех до пяти лет заключения. В последнюю минуту судья — тоже женщина — опротестовала статью. Мое дело отправили на доследование и переменили статью. Мне присудили год обычного заключения.

Не буду описывать этот период в своей жизни, скажу только, что никому, даже врагу, не пожелаю такой жизни.

Виктор остался с детьми один. Он писал мне в лагерь, что выписал из деревни свою мать, говорил, чтобы я не расстраивалась, год быстро пройдет. Он даже выбрал время и приехал ко мне. Нам дали свидание, я бросилась к нему на шею и долго плакала, он меня успокаивал. Отдал мне фотокарточки Кати и Миши, передачу. Я видела, что он жалеет и любит меня, а когда он уехал, время пошло намного быстрее.

Вернувшись из заключения, я подошла к нашему подъезду и вижу: Миша играет в песочнице. Увидел меня и испугался: «Бабушка, бабушка, кричит, тут какая-то тетя!» И побежал к старухе. Это была мать Виктора. Я вырвала у нее ребенка, он заплакал и тянется к ней.

Я ничего не могу сказать о ней плохого. Но это из-за нее распалась наша семейная жизнь, из-за нее все началось. Она сказала мне, что не будет нам мешать, и в тот же день засобиралась в деревню. А Виктор глядит на меня и ждет, чего скажу я. Но я ничего не сказала. Он подошел и спрашивает: «Таня, ну чего ты молчишь? Ты что, хочешь, чтобы мама уехала?» Я опять промолчала. У него остекленели глаза, но он сдержался и говорит: «Ну, хорошо... Завтра поговорим». Утром он ушел на работу, а я не утерпела и начала говорить с ней. Я говорила, что наша жизнь и так сложная, что пожилому человеку в городе трудно, что ни к чему бросать хороший дом в деревне. Она слушает и перебирает передник. И вдруг заплакала. Ни с того ни с сего. В это время Виктор пришел на обед. Так из-за нее у нас в первый же день получилась жуткая ссора. Она уехала на второй день. Виктор проводил ее на вокзал и вернулся выпивши. Но после этого у нас снова все наладилось. Мы жили спокойно, пока я не заговорила о своей работе. Он говорит: на работу ты не пойдешь. Все. Я сразу насторожилась: «Это почему?»—«Ну, Таня,— он говорит.— Разве семья это не работа? Воспитывай Мишку с Катей, книги вон больше читай. А денег нам и моих хватит. Заработаю!»— «Ну, уж, говорю, нет. Я что, хуже других, дома сидеть? С утра до вечера в четырех стенах. Я всю жизнь в коллективе».—«А дети? Тебе детей не жалко?»— «Катя, говорю, в школу, а Мишку в садик устроим». Он хмыкнул, ничего не сказал.

Я устроилась на работу по своей специальности, правда, с меньшим, чем раньше, окладом. Мне казалось, что моя жизнь снова пойдет как следует, что все хорошо. Но я не замечала еще, что Виктор изменился ко мне. Он несколько раз ничинал разговор о том, чтобы я родила еще одного ребенка, ему очень хотелось дочку. Помню, в последний раз он заговорил об этом в праздник, на Девятое мая. Но я не хотела даже и слушать об этом и уже записалась на аборт в больницу. В горячке я проговорилась ему. Он весь так и побелел, встал из-за стола и сказал: «Никуда не пойдешь!» Но я все же ушла в больницу и не сказала ему адреса. Я не знала, что с ним было, пока находилась в больнице. Но когда вернулась, не узнала ни его, ни квартиры: он пил несколько дней подряд. С этого времени он начал пить каждую неделю, деньги с получки уже редко приносил домой, приходил, раздевался и молча ложился спать. Но пьяным я не подпускала его к себе. Как-то я его просто столкнула с кровати, и он начал меня бить по щекам. Я убежала к соседям — у них был телефон— позвонила в милицию. Его увезли и дали десять суток ареста. Он пришел домой совершенно трезвым и сказал: «Таня, этого я тебе не прощу. Не могу простить». Спокойно взял из шкафа свои документы, сложил пару сорочек и свитер. Я сидела на диване и даже не шевельнулась. Я была уверена, что никуда он не денется, походит, походит и вернется. Он подержал на руках Мишку, погладил по голове Катю. Скрипя зубами пошел к двери. Я не остановила его. И он не

вернулся. Я напрасно ждала его день, неделю, месяц. Он завербовался куда-то далеко в Сибирь, написал мне через год, что женился и послал сразу восемьсот рублей новыми. Только тогда я окончательно поняла, какой он подлец. Я еще раз убедилась, что мужчинам никогда нельзя верить. Все они скроены на один лад. Я дала себе слово, что никогда, никогда больше не выйду замуж. Сменяла квартиру и переехала в другой город.

Сейчас я живу спокойно и не каюсь ни в чем, дети уже большие. Миша учится в ГПТУ, Катя работает. Денег у нас хватает, квартира обставлена. К нам ходит один мой знакомый, это спокойный, почти не пьющий человек, он всегда приносит с собой то шампанское, то цветы. Даже не знаю, где он достает эти цветы, особенно зимой. Однажды Катя выбросила его букет в открытую форточку. Я отшлепала ее по заднему месту, она заплакала и убежала, но все это простая блажь, она у меня хорошая девочка.

Миша как поступил в ГПТУ, так сразу и перешел в общежитие. Домой он ходит редко.

Мой знакомый сначала настойчиво предлагал мне зарегистрироваться, но я отказалась. Забыла сказать, что прошлой зимой я понемногу начала стучать на машинке, а недавно перешла работать секретаршей в трест. Меня попросили новую автобиографию для личного дела. Я начала ее отстукивать после работы. И вдруг вижу, что пошло совсем что-то не то, не для личного дела. Ну, думаю, наплевать, да и начала печатать все подряд, даже ин-

тересно стало самой. Так вот и отпечатала автобиографию за четыре вечера. Конечно, это не для личного дела, а так, для себя. Завтра мне исполняется сорок лет, мой знакомый опять припрется с цветами, а я не зн...

На этом текст обрывается. Последний листок весь ссохся от каких-то пятен с разводами ресничной краски и лиловой губной помады.

Воспитание
по доктору
Споку

1

Лодка плывет по бесшумному зеленому лесу. Весло хлебает густую, пронизанную солнышком воду, и Зорин видит, как по затопленным тропам гуляют горбатые окуни. Свет, много света, такого искристого, мерцающего. Непонятно, откуда его столько? Или от солнца, которое горит где-то внизу, под лодкой, или от слоистой воды. Зорин вплывает прямо в желтое облако цветущего ивового куста, оно расступается перед лодочным носом, и вдали, на холме, вырастает веселая большая деревня. Дома, огороды, белые от снега полосы пашни, разделенные черными прошлогодними бороздами, — все это плавится и мерцает. Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. Она зовет Зорина к себе, и у него сжимается сердце от всесветной тревожной любви. Он торопится, но лодка словно примерзла. Его тревога нарастает, мускулы почему-то немеют и не подчиняются. «Иди сюда! — слышит он голос Тони. — Иди скорее, будем ставить скворечник!» Он не может больше, он должен ставить скворечник. Сейчас он пойдет прямо к ней по солнечной широкой воде, надо поставить скворечник, скорей, сейчас же, потому что скворцы уже прилетели и в небе поет жаворонок. Он поет высоко-высоко, невидимый, настойчивый. И вдруг это пение оглушает, разрывает Зорину все нутро...

Он просыпается, ошарашенный от мерзкого, оглушительного звона будильника. Утро. «Да заглохнешь ли ты наконец?! О, черт...» Он с ненавистью прихлопывает эту гнусную механизацию. Оглядывается. Ага, все ясно. Дела настолько плохи, что даже спал он, не снимая брюк. И на раскладушке. Душа у него болит, но он бодрится, пробует даже что-то насвистывать и открывает форточку. Прислушивается к двери в смежную комнату: «Тонь, а Тонь?» В ответ — ни гугу, полное, так сказать, игнорирование. «Ну, что ж... — думает он.— Поглядим, что она будет делать дальше».

В комнате, где он спал, разумеется, изрядный бардачок. Раскладушка стоит посреди пола. Ботинки валяются в соседстве с Лялькиным мишкой, носами в разные стороны. На стуле висит какая-то дамская штуковина. Вечно эта сбруя раскидана где попало! Просто удивительно, как быстро все меняется, думает Зорин. Стоило появиться на свет Ляльке, и у супруги начисто улетучилась всякая стыдливость. Раскидывает свои штуки у всех на виду, даже при чужих...

Зорин проникается благородством и ставит мишку на детский столик. Складывает раскладушку и делает еще одну попытку восстановить отношения:

— Тонь, ты спишь?

В ответ слышится нечто мощное и уверенное в правоте:

— Пьяница несчастный!!

— Да? — Это «да» звучит глупо. Зорин сам это чувствует и чмокает языком. — Но, Тонь...

— Домой можешь не возвращаться.

Ему жалко будить Ляльку. До садика Ляльке целый час. Лялька может спать еще тридцать минут. Он бы сказал кое-что, но ему жалко будить Ляльку. Жена и так сделала из девочки ходячего робота. Укладывает в кровать, когда Ляльке хочется прыгать на одной ножке. А когда у ребенка глаза совсем слипаются, велит рисовать домики. Девочка любит суп с черным хлебом — на черный хлеб наложено вето. Даже писать и какать изволь в определенное время суток. Черт знает что творится!

Гася раздражение, с решительным видом Зорин идет умываться. Гул клозетной воды похож на извержение Везувия. «Или гул этого... Ну, как его? Ниагарского водопада. Ни в жизнь не видал ни того, ни другого. И вообще... «Можешь не возвращаться»! А что я такого сделал? Смех на палочке... Прежде всего надо почистить зубы. Ах, черт! Опять выдавил в рот крем для бритья. Тоже мне, деятель...»

Голова у него почти свежая, зато в желудке затаилась тягучая противная пустота: «Вакуум какой-то. Хорошо, что пили одно сухое. Они с Голубевым раскачали-таки Фридбурга, наш Миша под конец завелся. Даже до танцев у него дошло. Побриться мне или нет?

Он решает не бриться и идет на кухню: «Так. Нормально. Вчерашние пельмени. Трудно рассчитывать на горячий завтрак при таких обстоятельствах, очень трудно. Скользкие, как лягухи, но есть можно... Стоп! Супруга, кажется, покинула укрепленную зону. Что-то покидывает...»

— Может, ты все же спросишь, где я вчера был?

Зорин говорит спокойно и втайне гордится своим великодушием. Но в ответ слышно, как его ботинки на второй космической скорости улетают к порогу.

— Ты же разбудишь Ляльку, — говорит он и чувствует, как улетучивается все его джентльменство.

— Тебе разве есть дело до ребенка? — она оборачивается с притворным спокойствием. — Вот новость!

— Ладно, перестань.

— Свиньей был, свиньей и останешься!

«Точь-в-точь как в итальянском кино», — мелькает у него в голове. Его начинает трясти, он наскоро проглатывает пельменину и вплотную подходит к жене:

— Перестань!

«О, она у меня смелая женщина. Она не перестанет. Сейчас из нее полезет бог знает что, слова у нее вылетают сами. Иногда она и сама им не рада. Сейчас дойдет до моей получки, потом до кино — она не ходила в кино уже полгода. Дальше явятся Лялькины башмаки и сломанный телевизор».

Зорин чувствует, как на виске начинает дергаться какая-то жилка.

— Чего ты орешь, ну чего ты орешь? — говорит он и с отвращением замечает, что и сам переходит на крик.

— Не хочу с тобой говорить!

— Ну и не говори! Подумаешь, цаца!

Он уже взбешен, а у нее вдруг взыграло достоинство, и она спокойно произносит:

— Пожалуйста, не оскорбляй.

— Дура! — в отчаянии кричит он и, чтобы не ударить, хватает полушубок.

От крика просыпается и плачет Лялька. Зорин выскакивает на лестничную площадку, но детский плач приводит его в чувство. «Дура...» Он возвращается, меняет шлепанцы на ботинки. Подходит к серванту, но в банке из-под грузинского чая только новый червонец и ни одного рубля. Лялька ревет в другой комнате.

— Дай мне на обед, — как можно спокойнее говорит он, но жена словно не слышит.

Он глядит на часы и хлопает дверью...

В это время щели в дверях двух соседних квартир исчезают как по команде. Английские замки щелкают дружно и одновременно.

На улице он ловит себя на том, что ему жаль самого себя. Зорину хочется вернуть, оживить, восстановить счастливое ощущение, испытанное во сне. Оно ускользает, заслоняясь будничными впечатлениями. Зорин упорствует. Образы весеннего водополья, увиденного во сне, вдруг проясняются в памяти. И, цепляясь за эти образы, он припоминает весь сон: мерцающую реку, баню Олеши Смолина и босую девчоночку, стоящую на большом речном камне. Ту самую Таню, эвакуированную из Ленинграда, Таню, которая жила в соседней деревне. Но ведь в действительности на камне стояла не Таня, а Тоня, его жена. Тоню же он возил когда-то и в лодке. Почему во сне обе они всегда так странно объединяются в одну? Зорин чувствует, как у него краснеют, наливаются кровью ушные хрящи, торопится к автобусной остановке.

Вообще-то Тонька отчасти права, думает Зорин. Зарок пить только сухое вино исполнялся вчера слишком усердно. Это у Зорина зарок номер один. Второй зарок — говорить меньше, чем слушать, — Зориным исполняется, а вот первый... Впрочем, все дело в Фридбурге. Зорину давно хочется перейти из треста в проектный, а дружок Мишки Фридбурга там замзав. И вот они встретили этого зама в ресторане, и даже Мишка напился. До того, что начал обхаживать какую-то блондинку...

Зорин смотрит на часы, времени уже без двадцати восемь. Хорошо, если Воробьев будет звонить сначала Голубеву и они полаются минут пять — десять. Зорин живо представляет этот полный взаимных любезностей диалог: «Пригласите к телефону товарища Голубева». — «Товарищ Голубев?» — «Так точно, товарищ Голубев, а это кто, товарищ Воробьев?»

Самое интересное, что у обоих птичьи фамилии. Воробьев по своей хронической тупости, как всегда, не заметит тяжеловесного голубевского сарказма. Будет отчитывать Сашку за то, что тот не поставил ограждения вокруг котлована антисептика. Потом справится о прогульщиках: «Товарищ Голубев, доложите, кто не явился на производство». — «На производство?» — «Да, на производство». — На производство, товарищ Воробьев, явились все. И не ваше ср... дело. Что? Можете спокойно сидеть в своем кресле...» В тепляке установится тишина, бригадиры в изумлении будут глядеть на Сашку. Никто не заметит, что Сашка давно уж зажал рычажок телефона своей линейкой, сплошь разрисованной жен-

скими торсами. Зорин-то знает, какой Сашка мастак показывать кукиш в кармане...

Но где же автобус? Куча народу, человек двадцать, скопилось на остановке. Все до того симпатичные, что просто стыдно за свою плебейскую физиономию. Ох, что-то сейчас будет! Вон с тем дядечкой периода архитектурных излишеств. Или вот с этой дамой, у которой все лицо зашпаклевано кремом и пудрой. Автобус — полным-полна коробушка — наконец подкатил, и вся публика враз преображается. Дядька сам себя проталкивает внутрь автобуса, но навстречу лезет такой же, не менее толстый, а с улицы давят почем зря.

— Граждане, что вы делаете? — пищит шпаклеванная. — Ай, что вы делаете?

— Ни хрена! — говорит здоровенный парняга в фуфайке.

— Давай, давай!

— Нажмем, братцы, а? — подскакивает кто-то веселый, еще с остатками сна на лице.

Однако нажали уже без него.

Автобус, ковчегом, с креном на правый бок, отчаливает, дымит синими газами. Чьи-то ноги с задранным подолом зажало в автобусной дверце. «Ну и дурочка, — думает Зорин, жалея стиснутую дверкой даму. — Ну, какая же ты дурочка, ведь надо же знать, что автобусы тоже иногда ходят парами. А то и по трое».

* * *

Все утренние невзгоды, автобусная возня, сраженье с Тонькой — все уходит на задний план. Вернее, вытесняется коечем свежим.

Разумеется, Воробьев уже звонил и наверняка остался доволен, что прораб Зорин опять опоздал на работу. Бригадиры и кое-кто из рабочих курят в дощатой зоринской резиденции.

— Все в сборе? — Зорин как можно увереннее здоровается.— А где Трошина?

Трошина — бригадир разнорабочих.

— Гришка! — говорит дядя Паша — бригадир каменщиков. — Беги кликни Трошину.

Гришка Чарский — цыган. Он бежит за своим бригадиром, а Зорин оглядывает тепляк. Вот дядя Паша. Почему-то он всегда говорит гравель, а не гравий. Дядя Паша сидит на ломаной перевернутой раковине и продолжает что-то рассказывать, — речь идет о том, как он впервые женился. Марья Федоровна — бригадир штукатуров, смеется, отмахивается от него:

— Ой, замолкни, ой старый пес! Ты бы хоть не врал, не молол попусту.

— Точно! Я тебе говорю! — всерьез сердится дядя Паша, и все хохочут.

Речь идет о весьма пикантных вещах, связанных с первой брачной ночью, и дядя Паша убедительно развивает свою теорию женской коварности:

— На что только эти бабы не способны, особо когда им замуж позарез надо...

— Мужики-то уж больно добры, — замечает Марья Федоровна.— Небось у тебя до нее пятнадцать было.

— От, не верит! Ну, ей-богу, Марюта, она была самая первая!

— Так как же ты про это узнал, ежели она была первая?

— Вишь, после-то у меня была практика...
— Ну?
— Ну, а я и сужу по той практике.
— Так ведь тогда-то ты был без практики?
— Без практики.
— Так как же ты узнал-то?

Дядя Паша явно подзапутался. Он в раздумье скребет у себя за ухом, но в это время в тепляке появляется Трошина. Она сипло здоровается, и в первой же ее фразе колуном застревает похабное слово. Зорин, сдерживая раздражение, говорит:

— Трошина, нельзя ли без мата?

Она виляет тощими бедрами и под смех строительного молодняка отпускает то же самое, только в квадрате. И Зорин знает, что если ей не уступить, то все это будет в кубе, потом степень будет расти и расти. Ах, старая каракатица! Она испортит ему всех девчонок в бригаде, это уж точно, испохабит вконец, и попробуй к ней подступись. Недавно она выиграла по лотерее мотороллер. Наверное, уже и кое-кто из женатиков приложился к тому мотороллеру, не говоря о холостяках. Эти-то перебывали у нее, вплоть до Гришки Чарского.

Зорин глядит на осунувшееся землистое лицо Трошиной и вдруг замечает дырочку на мочке уха. Наверное, прокалывала когда-то, еще девчонкой, мочка эта белая-белая.

— Ну, хорошо, — говорит Зорин. — Степановна, давай поближе, что ли.

Пока все рассаживаются, кто на чем, Зорин с некоторым тщеславием думает, что не такой уж он и дурак. Нет, в самом деле. Это же он изобрел наилучший способ утихомири-

вать Трошину. Стоит спокойно, вот так попросту назвать ее по отчеству, и она сразу как-то отмякнет, и в глазах ее тухнут горячечные злобные блики.

— Все в сборе?

— Все, — говорит дядя Паша. — Козлова только нету.

Вот черт, мысленно ругается Зорин, Козлов крановщик. Хорошо, если явится хотя бы к обеду. Зорин мельком прикидывает, что делать каменщикам, если Козлов не явится.

— Сколько кирпича наверху?

— Да часа на два-три.

Он закусывает губу, стучит пальцами по столешнице. Тайком взглядывает на дядю Пашу. Кирпича наверху часа на два. Ну, а потом что? Дядя Паша глубоко вздыхает, чмокает ртом, высасывая что-то из зуба. Так, все в порядке. Теперь ясно, что если Козлов не явится, дядя Паша сам, в нарушение инструкции, сядет на кран. Каменщики не будут простаивать. Ну, а штукатуры? Ничего, на третий этаж можно носить раствор и носилками.

— Марья Федоровна, — как можно спокойнее говорит Зорин. — Леса готовы?

— Готовы.

— Начинайте штукатурить среднюю секцию.

— А раствор?

— Что раствор, что раствор! — он еле сдерживает раздражение. — Ваше дело штукатурить. А раствор... Придется носить вручную.

— Мы что, лошади? — опомнившись, басом кричит Трошина — Не будем носить!

— Будешь носить! — тихо говорит Зорин.— Будешь, Трошина! Ясно?

Он изо всех сил сжимает челюсти. И словно гипнотизер, прищурившись, глядит в лицо Трошиной. Прямо в ее переносицу. Он видит, как она отводит глаза. Кричит, но отводит, значит, будет носить раствор.

— Все. Штукатуры и каменщики могут приступать.

В тепляке поднимается шум. Трошина орет громче всех, отказываясь вручную носить раствор. Плотники выбрали делегацию из трех человек и требуют показать наряды. «Кой черт, наряды! Нарядами у меня еще и не пахнет». — «Константин Платонович?» — «Ну?» — «О прошлом месяце ты нас во как надул». — «Как так надул? Выбирай выраженья, Кривошеин». — «Я и выбираю». — «Ну?» — «Народ просит поглядеть наряды». — «Да нет нарядов, не писал еще! Тебе ясно это, Кривошеин?»

Кривошеину стало ясно, и он уводит делегатов. Сантехник и слесарь топчутся у стола уже несколько минут.

— Что?

— Константин Платонович, тройники-то не стандартные.

— Как так не стандартные, не может быть.

Слесарь и сантехник стоят, ждут.

— Ну, хорошо... Займитесь другим монтажом. Маленькие вы, что ли? Смените раковину в тридцать шестой. Монтер, где монтер?

Появляется электромонтер, мальчишка-практикант. Он совсем еще ребенок.

— Попробуй, дружище, подключить лебедку...

Кто-то просит выписать лопаты, кто-то трясется с заявлением на отпуск. Сторожиха требует отгул за выходные дни. Телефон

брюзжит то и дело. «Да, слушаю. Будут наряды! Нет, не сегодня... Але-у! Девушка, там нет Фридбурга? Есть? Привет, старичок! Слушай, если сегодня не пошлешь сварщика...»

Наконец в тепляке устанавливается тишина. Теперь Зорин сможет сесть за наряды. Надо вытащить расценки и прочую бухгалтерию. Начать с каменщиков, это ведущая бригада. О, уж Зорин-то знает, что такое писать наряды. Говорят, что кто что заработал, тот то и получай. Если бы так. Беда в том, что он не может платить людям по закону. Почему? Да потому, что не может. Никак. Не выходит, и все. Вот дядя Паша. Лучший каменщик, портрет его третий год на городской доске Почета. Зорин прикидывает объем выполненной работы. Количество рабочих часов и смен такое-то, разряд такой-то. По закону дядя Паша заработал около трехсот рублей. А у Смирнова? У Смирнова выйдет всего около ста рублей. Конечно, Смирнову как каменщику с дядей Пашей не тягаться. Но если Зорин начислит ему сто рублей, а дяде Паше триста, Смирнов тотчас уйдет со стройки. Да еще уведет с собой человек четырех. Это уж как пить дать. А дом надо сдать к майским праздникам. Даже если допустить этот уход, что из того? Еще неизвестно, кто придет вместо Смирнова, и ничего по существу не изменится. И вот Зорин мухлюет. Мудрит и колдует с тарифной сеткой, он должен закрыть наряды Смирнову хотя бы на сто пятьдесят рублей. А дяде Паше снизить фактический заработок, потому что фонд зарплаты совсем не резиновый. Постой, а в чем же виноват

дядя Паша? Получается, что ему совсем невыгодно хорошо работать. Да, невыгодно. И все же он работает. Работает дай боже, хотя знает, что все равно не заработает больше, чем в прошлом месяце. Голова идет кругом! А плотники? Та же история. Разнорабочие? Тут уж совсем... Если бригаде Трошиной закрыть наряды по всем правилам, не получится даже месячного минимума. У каждой семья, каждая живет от получки до получки. Но они же ничего не заработали, если выводить по расценкам. И вот Зорин ломает голову. Где взять Трошиной объем работ? Ну, хорошо, грунт можно поставить по самой высокой категории тяжести. Это что-то даст, хотя совсем немного. Транспортировка горбыля. Увеличим до ста метров. Объем строительного мусора также можно удвоить. И все равно, этого мало... О, черт! Постой, постой, а что, если... что, если...

Телефонный звонок обрывает зоринские комбинации. Звонит Воробьев. Так. Все ясно, в семнадцать тридцать совещание у начальника управления. То бишь у Воробьева, так как он замначальника, а сам начальник в отпуске. Что? Буду ли? Конечно, буду. Попробуй не будь. Ты же сам закатаешь выговор, если не прийти. Для того ты и Воробьев. Без этого ты никакой и не Воробьев.

Зорин кромсает бумажку с денежными наметками и бросает ее в чугунную печку. Так. Печка, как обычно, полна пустых чекушек. Зорин знает: ругаться бесполезно. «Но боже мой, когда это кончится?»—«Что — когда?»— «Ну, это...» — «Э, брось. А кто вчера восхищался рислингом? Чуть ли не до двух по-

чи?» — «Но это же не на работе». — «Велика разница...» — «Конечно, большая».

Однако это последнее утверждение не спасает его от угрызений совести. Продолжая ругать себя за вчерашнее, он выходит из тепляка. Надо сходить еще и на второй объект. На его совести еще трасса водопровода. У Зорина болит душа: вчера еле-еле справились с плывуном. Грунт ползет и ползет. Скоро весна. Погода опять отмякла. «Что же, будем бить шпунт, — думает он. — Но откуда там грунтовые воды?»

Он окидывает глазами свой сорокаквартирный. Кажется, все идет своим ходом. Каменщикам работы дня на два, не более. Штукатуры работают, значит, и плотники с лесами не прозевали. Лебедка трещит, молодец парнишка, право, молодец. Совсем салага. Еще совсем не прочь полюбоваться из-под лесов девчоночьими рейтузами, но молодец, подключил-таки эту норовистую лебедку. Гришка Чарский стоит у лебедки, подает раствор на леса первого этажа. Трошина сосредоточенно выбивает из ведра присохший раствор.

Зорин глядит на смуглую горбоносую физиономию Гришки и еле удерживается от улыбки. Но эта не родившаяся улыбка не ускользает от наглых, всевидящих глаз Тольки Букина.

— Гришк, а Гришк, — кричит Букин. — Гришка, скажи хасиям!

Паршивец этот полублатной Букин. Даже при Зорине он сидит, покуривает. Презирает мозоли. Кого только не перебывало в трошинской бригаде! Букин — бывший вор, сидел трижды. Теперь вот перевоспитывается в кол-

лективе. Еще неизвестно, кто кого перевоспитает. Букин демонстративно сидит: напевает:

На стройку буду высоко глядеть,
Пусть на ней работает медведь,
У него четыре лапы,
Пусть берет кирку-лопату...

— Послушай, Букин... — Зорин закуривает, чтобы не взбеситься.

Он не знает, что сказать этому сачку. Сказать, что уволит? Но это все равно что слону дробина.

— Хасиям! Начальничек, береги нервы! — Букин нехотя идет к растворному ящику.

Зорин знает, что одна Трошина как-то ухитряется держать Букина в руках. А, черт с ним, с Букиным! Зорин отворачивается. Злость тут же исчезает: Таня Синицына, тоже из трошинской бригады, поддерживает Зорина хорошим сочувственным взглядом, одергивает платье. Не поступила осенью в институт, пошла на стройку. Зорин знает, каково ей в этой бригаде, но что он может сделать? Одно слово, хасиям. В самом деле, что такое хасиям? Выходя на улицу, Зорин вспоминает историю с Гришкой Чарским.

Как-то перегрелся и задымил мотор лебедки. Гришка перепугался и крикнул: «Хасиям!» Мотор дымился, а этот подонок Букин орет Гришке, чтобы гасил быстрее, а то будет пожар. Гришка, не будь дураком, расстегнул ширинку и начал гасить мотор подручными средствами. Женщин поблизости не было. Букин, вместо того чтобы выключить рубильник, стоит и показывает, где надо поливать. И Гришка поливал, пока не заземлил сеть, потом

заорал благим матом и начал корчиться от боли. Букин пошел объясняться в милицию, но там только посмеялись, и все обошлось благополучно. Для обоих... Интересно, что такое хасиям?

Зорин спешит на второй объект. Здесь тоже все идет нормально. Еще вчера подвезли шпунтованную доску, плывун остановлен. Рабочие углубляют траншею, рядом водопроводчики монтируют задвижку Лудло. На работу явились все. Излишняя опека и заботливость, когда работа идет хорошо, так же вредна, как равнодушие во времена неполадок. Лучше уйти и не сбивать людей с рабочего ритма. Зорин знает это и, перекинувшись с бригадиром двумя фразами, бежит в контору: в столе Мишки Фридбурга давно ждет техническая документация на новый шестидесятиквартирный. Завтра, самое позднее послезавтра, надо начинать закладку.

Да, но что же такое хасиям?

2

Хорошо. Очень хорошо на душе, можно еще поспать, даже подремать. Куда торопиться? Не хватает только кота, чтобы мурлыкал под боком. И еще не хватает Ляльки. Ляльку бы сюда, она так любит щекотать Зорину нос по воскресным утрам. Но Лялька сейчас в садике, и Зорин открывает глаза. Здесь так удобно, спокойно, никто не видит его. Потому что старинное, еще купеческое кресло стоит между двумя шкафами, а спереди Зорина маскирует широкая спина Сашки Голубева. Мишка Фридбург тоже си-

дит впереди и, кажется, забыл о своей угрозе. Еще с утра, по телефону, он обещал выдвинуть Зорина в президиум. Нет, Фридбург молчит, хотя в прошлый раз он все же писал протокол. По милости Зорина. Ах, вот в чем дело! Сегодня же производственное совещание идет без президиума. Большая комната ПТО, модернизированные столы. Старые стулья, их еще не успели заменить новыми. Фридбург уткнулся в журнал и бормочет что-то насчет курения. «В Америке упал спрос на сигареты». — «Ну и что?» — оборачивается Голубев. «У нас тоже на днях упадет». — «Что упадет?» — «Этот самый... спрос. Воробей запретил курить в помещениях...» — «Кто? — Зорин с трудом открывает веки. — Кто запретил-то?»—«Пушкин. Александр Сергеевич... Можешь проверить,— говорит Фридбург и предлагает Зорину «Шипку».— Да, тебе звонила жена. Просила передать, что у нее тоже собрание. А чем она хуже?» — «Ладно, уже усек».

Зорин хмуро соображает. Если Тоня задержится, Ляльку в садике опять будут держать два часа одетой. И внушать, какие плохие у нее родители. Голос Воробьева бубнит ровно, как по программе. Производственный план на третьем участке под угрозой... Необходимо повысить производственную дисциплину... И тэ дэ и тэ пэ. Что? Некоторые... Ну да, все ясно. Некоторые командиры производства сами нарушают производственную дисциплину. Зорин... Что Зорин?

— Товарищ Зорин, прошу написать объяснительную записку, почему вновь опоздали на производство?

Фридбург вытаскивает авторучку и тихонько предлагает Зорину:

— Старик, не затягивай...

— Мишка знаешь, иди ты,— Зорин встает. — Но я не опаздывал!

— Я, товарищ Зорин, вам слова не давал,— голос Воробьева слегка повышается. — Имейте, в конце концов, хоть каплю выдержки.

Зорин садится, вспоминая второй зарок.

«В сущности, — думает он, — в сущности, чего мне всегда не хватает, так это юмора. Помалкивай, оправдываться бесполезно. И слишком много чести для Воробьева».

Зорин сидит в купеческом кресле и слушает дальше. Берет со шкафа расколотую облицовочную плитку и осторожно опускает ее в широкий карман голубевского пиджака. Это ему в обмен на машину нестандартных тройников. Пусть отвезет домой и подарит любимой жене. Нет, черт возьми, у Голубева получилось намного остроумнее. Надо же так ухитриться? Сплавить ему, Зорину, целую машину бракованных тройников!

— Сашка, а Сашка, — Зорин тычет Голубева ниже поясницы. — Дай трояк до понедельника. Или помоги обработать Фридбурга.

— Зачем?

— Не твое дело.

— У меня всего два рубля.

— Давай два.

Зорин берет деньги и глядит на часы: садик закрывается через тридцать минут. Если сразу поймать такси, то, может быть, Лялька не расплачется. Он опоздает на полчаса, не больше. Сейчас Воробьев переключится на шестой участок и наверняка выдохнется. За

стенкой, в коридоре, уборщица уже брякает ведрами. Зорин прикидывает, где лучше изловить такси и как побыстрее миновать Фридбурга с Голубевым.

Все. Наконец-то Воробьев закрывает совещание, гром от передвигаемых стульев заполняет комнату ПТО, и Зорин, салютуя Фридбургу с Голубевым, устремляется в коридор.

— Товарищ Зорин, одну минуту! — слышится голос Воробьева. — Попрошу задержаться.

— Еще чего не хватало!

— Садитесь. — Воробьев, не глядя на Зорина, гладит ладонью папку.

Зорин не садится, глядит.

— Я опаздываю.

— Куда? — спрашивает Воробьев.

— Какое вам дело?

— Я прошу вас не грубить, товарищ Зорин! Сядьте и выслушайте внимательно.

— Что выслушать?

— А вот что. — Воробьев берет из папки какой-то листок. — Вот что. Поступил сигнал о вашем недостойном поведении в быту и в семье. Я вынужден передать его в местком и партком треста...

— Интересно, — Зорин чувствует, как у него начинает дергаться височная жилка. — А кто, собственно, сигналит? И в чем это недостойное поведение?

Зорин глядит на листок и еле сдерживает свое бешенство. Почерк до того знаком, что от обиды в горле появляется спазма, ладони потеют. Зорин вновь, как и утром, ловит себя на том, что ему жаль самого себя.

— Все?

— Все. Можете идти.

Зорин, не помня себя, хлопает дверью. Нет, от Тоньки он никогда не ожидал такого предательства. Жена, называется. Ну, хорошо... Что хорошо? «...вынужден передать в местком и партком...» Дура! Подлая дура. Вместо того чтобы...

— Але, Фридбург!

Фридбург еще не успел уехать.

— Есть у тебя деньги? — Зорин в бешенстве бросает окурок. — Дай мне червонец взаймы....

— Брось, старик. Начхай на все...

— Есть у тебя сколько-нибудь денег?

— Пожалуйста.

Зорин комкает в кулаке две новых пятерки и, скрипнув зубами, быстро уходит из управления.

«Где-то тут кафе, эта дурацкая «Смешинка», — мелькает в голове Зорина. — Все шалманы окрещены по-новому, где-то тут эта самая «Смешинка»...»

В «Смешинке» продажа водки запрещена, но «Перцовки» хоть отбавляй. Зорин садится за столик и чувствует, что ему хочется заплакать от горечи. Он хочет заплакать, зареветься, как тогда, в отрочестве, в коридоре районного загса. Но он тут же издевается над своим желанием и хохочет внутренним хохотом. Нет, это просто великолепно! Это просто здорово, что ему даже не разреветься. Никогда, никогда, никогда не разреветься! Официантка подходит к нему, но он вдруг вспоминает про Ляльку, и жалость к дочке стремительно охватывает его, жалость и боль за ее беззащитность. Зорин выбегает на ули-

цу. Через полчаса он врывается в прихожую детского садика, и у него сжимается сердце.

Лялька сидит одна, на полу в уголке. Одетая. Она уже устала плакать и теперь только тихонько вздрагивает. Толстая уборщица со шваброй выглядывает в дверь, с равнодушным любопытством глядит на Зорина, произносит:

— Как только не стыдно людям.

Зорин молча утирает у Ляльки нос, застегивает кофточку.

— Прилично одетый! — слышится в коридоре.

О, женщины! Однажды ему вспомнилось, как в деревне какой-то бродячий корреспондент сфотографировал бригаду доярок. Через полгода, ко всеобщему изумлению, почтальонка прямо на ферму принесла конверт со снимками. На них ничего нельзя было разобрать. Зорин возил тогда молоко, он слышал, как одна из доярок, приговаривала: «Девки, девки, до чего добро вышли-то, а которая я-то?» Теперь с каждым узором причудливой женской логики ему вспоминается почему-то именно эта фраза.

Они выходят из садика на крыльцо, и он берет Ляльку за руки. Вздохнув долгим судорожным вздохом, девочка успокаивается, а Зорин, скрипнув зубами, крепко прижимается щекой к ее ручонке: «Ничего, Лялька, ничего. Сейчас мы придем домой. Снимем валенки и поставим чайник. Что? Хочешь писать? Сейчас, Лялька, сейчас. Вот, мы уже дома. Хочешь идти ножками? Что ж, давай пойдем ножками...»

В квартире тот же утренний кавардак.

— А где мама Тоня? — Лялька прыгает, примеряет у зеркала мамину шляпу.

— Папа, смотри.

— Да?

— Я уже до шляпы выросла.

«Да, Лялька, ты уже выросла. Ты уж совсем большая. Если б ты знала, с каким трудом устраивали тебя в это детское заведение, ты бы никогда не плакала, ты бы только и делала, что плясала и пела. Лялька, а где же у нас мама Тоня? Если б ты мне не стала мешать, я бы закрыл сегодня наряды. Слышь, Лялька? Мы не будем ждать маму Тоню. Ты сейчас поешь немножко и будешь спать. Ну, вот, умница. Ты будешь спать, а папа будет делать наряды. Что? Конечно, красивые. Как у мамы. Впрочем, нет, это совсем другие наряды».

Но Лялька не засыпает, она дожидается маму Тоню.

Мама Тоня является в двадцать два ноль-ноль.

— Тоня, я тебе никогда этого не прощу, — говорит Зорин, бледнея и сидя в кресле.

— Что не прощу, что не прощу! — Она не забыла, уходя из библиотеки, подмазать губы.

— Ты еще и доносы на меня пишешь...

— Тебя посадить мало!

— Да?

Он встает, открывает форточку, закуривает.

«Накрасить губы она не забыла... — думает он. — Но строительный справочник снова не принесла. Хотя сама работает на абонементе». Этот дурацкий справочник она обещает ему уже второй месяц...

Внутри у него все кипит, но он вновь вспоминает второй зарок. С усилием переводит дыхание, гасит в себе злобное раздражение и говорит:

— Надеюсь, собрание было активным?

Жена — библиотечный профорг — не замечает язвительности вопроса. Она энергично орудует в квартире: развешивает разбросанную одежду, подбирает игрушки. Затем начинает греметь на кухне посудой. Зорин загадывает: «Если ее фантазия пойдет дальше пельменей... все в порядке. Мир в семье восстановлен. Черт с ним, с этим ее письмом! Пройдет и это... Вызовут на местком, зачитают конспект лекции на моральную тему... Переживем».

Зорин сам себе, мысленно, произносит этот монолог. Но он чувствует, что где-то под левой лопаткой вновь копится боль, обида и горечь. Почему она всю жизнь борется с ним? Когда это началось? Она всегда, всегда противопоставляет его себе. В каждом его действии она видит угрозу своей независимости. Он все время стремится к близости, к откровенности. Но она словно избегает этой близости и всегда держит его на расстоянии.

Его размышления прерывает Лялька. Она капризничает, хныкает. Зорин кладет ладонь на родимую светлую головенку и вдруг ужасается: голова девочки горячая, словно нагретый камешек. По городу вновь ходит жуткий грипп, то ли гонконгский, то ли иранский. Хотя б одну зиму прожить без этой мерзости!

— Тоня, где у нас градусник?

— Собирай девочку, идем гулять, — слышно из кухни. — Ешь пельмени без нас, пей чай.

«Ясно, — думает Зорин. — Ты опять поужинала в библиотечном буфете. Обедают они всем гамузом в ресторане, ужинают в буфете. Кухня закрепощает женщину...»

— У Ляльки температура.

— Собирайся, надень валеночки.

— Тоня!

— А где у тебя варежки? Дрянь такая, ты почему не слушаешь?

Жена как бы не замечает Зорина. Она одевает ревущую Ляльку, которую нужно ежедневно водить гулять перед сном. Она воспитывает ее по доктору Споку. «Спок, будь Спок,— мысленно острит Зорин.— От Спока тут ничего уже не осталось».

— Тоня, гулять вы не пойдете!

— Да? — она научилась этому «да?» у него же. — Пожалуйста, не мешай. Девочка вполне здорова. Не забудь выключить газ, мы вернемся через двадцать минут.

Зорин, в отчаянии сжав кулаки, начинает метаться по комнате. Лялькин плач выворачивает ему всю душу, а спокойствие жены приводит его в бешенство. Второй раз за вечер он усилием воли переламывает себя и глядит на часы.

Двадцать минут одиннадцатого. В соседней квартире все еще слышатся магнитофонные вопли. Чайник парит на конфорке, пельмени остывают в кастрюле. Писать наряды в таком состоянии все равно что плясать босиком. Но он раскладывает на кухне бумаги, достает логарифмическую линейку и затрепанную книжку со строительными расценками.

Жена и дочка приходят с улицы и вскоре затихают в маленькой комнате.

Зорин ложится в четвертом часу, и снова на раскладушке. Едва поставив будильник, он словно проваливается в какую-то багровую бездну.

Рабочий день кончен.

3

Крановщик Козлов, крича что-то насчет квартиры, пришел на объект пьяный. Зорин не мог допустить его к работе. Козлов с шумом исчез. Зорину надо было открывать третий объект: экскаватор уже тарахтел на месте будущего котлована фундамента. Пустой деревянный дом на стройплощадке необходимо было сносить своими силами. Зорин отправил плотников ломать дом, вызвал бульдозер. Когда плотники полезли выставлять рамы, из средней комнаты послышался голос:

— Только попробуйте!

Плотники по очереди посмотрели в комнату. Посреди пола, свернув калачом ноги, сидел Козлов и разбирал старый будильник. С одного боку у него стоял чемодан, с другого лежал свернутый полосатый матрас.

— Вылезай, Козлов! — предложил бригадир. — Чего ты тут уселся как турецкий султан?

Козлов заявил, что будет тут ночевать. Он не выйдет из дома, пока не выпишут ордер на жилье. Он, мол, ждет квартиру восьмой год и законы знает: никто не посмеет выгнать из этой развалюхи.

Зорину доложили обо всем этом.

— Он что, чокнулся?

Черт знает что! Этого в его практике еще не было. Это что-то новое. Зорину смешно. Почему-то вспомнился Авинер Козонков с его пенсионной документацией, с необъяснимой манерой говорить серьезные слова. Директивка, процедурка, дисциплинка. Какую директивку должен дать в этом случае он, Зорин? Лицедействующий Козлов закрыл дверь изнутри, а плотники не знают, что делать. И ждут зоринских указаний.

«Нет уж, хватит — твердо решает Зорин. — Пусть занимается Козловым сам Воробьев, милиция, горисполком, папа римский. Кто угодно. Он инженер, прораб. Почему он должен заниматься такой ерундой?»

Телефон звонит, предупреждая зоринское желание позвонить.

— Да. Прораб Зорин слушает. Что? Из детского садика?— На лбу Зорина сразу выступает испарина.— Температура, але, девушка, сколько температура?

Но «девушка» повесила трубку. Подспудный страх, все утро точивший Зорина, сжимает горло, картины, одна другой хуже, всплывают перед глазами. Он ясно представляет сейчас, что там творится: больная, в жару, дочка сидит где-нибудь в уголке и плачет. Может быть, она даже мокрая. На нее никто не смотрит. Да, он знает тамошние порядки. Дрожащей рукой он набирает телефон библиотеки: «Але? Позовите Зорину Антонину, Зорину, я сказал! Что, не грубить? Кто из нас грубит, не понимаю».

Телефон пищит короткими раздражающими гудками. Зорин, выругавшись, выбегает из тепляка. Автобус, идущий через городской

центр, почти пустой, он, кажется Зорину, не едет, а крадется по черным мартовским улицам. Пятака, как обычно, нет. Зорин опускает в кассу двугривенный, отрывает билет и с горечью вспоминает вчерашнее. Он выбросил бы этого Спока к чертовой матери! Впрочем, при чем тут Спок? Она слушает всех, кроме собственного мужа. Даже безграмотных бабок. Каждое его слово встречается в штыки. Она готова поступиться даже здоровьем ребенка, лишь бы сделать по-своему. То есть вопреки ему, Зорину...

Большое, красивое здание библиотеки вызывает в нем отголосок волнующего забытого чувства: когда-то он мечтал защитить диссертацию. Люди, сидящие в тишине громадного зала, — счастливые люди. Он завидует им. Сразу после института он провел здесь с десяток изумительных вечеров. Так же, как они, он вбегал когда-то по этим широким ступеням, а поздним вечером, не торопясь и смакуя движения, возвращался домой. Куда все это исчезло? Теперь у него нет времени читать даже периодику.

Он заходит на абонемент не раздеваясь, ищет взглядом жену, но ее нет за стойкой. Вместо нее там стоит ее напарница. Зорин видит, как она кокетничает и строит глазки молодому читателю с черной бородкой шкипера: «Вы знаете, мне не нравится Фолкнер, — «шкипер» задумчиво расписывается в формуляре. — Старомодность, простите». — «Да?» — «И потом, эта заумь и длиннейшие периоды...»

Зорина на минуту охватывает ревность. Он представляет свою жену вот такой же, любезничающей с этим холеным пижоном. Сей-

час она так же, снизу вверх смотрела бы в рот этому типу, поддакивала и сводила брови в показной задумчивости.

— Позовите мне Тоню.

Девушка с любопытством оглядывает Зорина:

— Ее сейчас нет. А что ей передать? Ее вызвали в обком союза.

— Скажите, был муж. Еще скажите, что заболела дочь.

Зорин вылетает из библиотеки как пробка. У него еще хватает терпения найти телефон-автомат и выпросить в ближайшем магазине монету. Он звонит в управление и чуть не бегом стремится в садик-ясли, это не далеко, всего около трех кварталов. Не слушая вчерашнюю тетку-уборщицу, он скидывает полушубок в прихожей, вбегает в ясельный коридор, хватает за локоть няню. Она торопливо объясняет ему что-то насчет врача. Затем выносит вздрагивающую Ляльку:

— Сразу же вызовите врача.

— А у вас? Разве у вас нет врача?

— Она сказала, чтобы девочку унесли домой и чтобы участкового врача вызвали.

Девочка глядит на отца мутными беспомощными глазенками, веки ее как-то странно коробятся. Она тяжело дышит, из носа у нее течет, она даже не может стоять на ножках.

«Доча, доча... Ну, что ты. — Зорин с трудом одевает Ляльку. — Участкового... Вам бы только сплавить ребенка... Вы... вы...»

Он не находит слов. Заворачивает девочку в полушубок и, оставшись в одном свитере, уносит ее домой.

* * *

— Это ты виноват! Сколько раз тебе говорила, чтобы не давал конфет? Пьет, пьет после этого...

— Значит, я...

— Тысячу раз просила!

— Ну, хорошо, пусть я! Пусть. Но сделай же ей что-нибудь... Аспирин, что ли!..

Лялька в беспамятстве шевелится в своей кроватке, ворочает раскаленной головенкой. Зовет маму. Зорин не может смотреть на все это, он готов разреветься. Он во второй раз бежит на телефон-автомат. Равнодушный ко всему голос отвечает ему: «Товарищ, я же сказала, врач придет. Вы знаете, сколько вызовов?..»

Ему страшно возвращаться на третий этаж. Он открывает дверь, топчется в комнате, затем опять выходит на площадку. Его уже тошнит от этого гнусного «Опала». Зорин с отвращением душит огонь сигареты. «Что делать? Что же делать...» В мозгу почему-то назойливо крутится мотив пошлой эстрадной песенки. Соседки вдруг проникаются искренним сочувствием, и он, благодарный, прощает им все прошлые подглядывания и подслушивания. Одна предлагает сушеной малины, другая несет какие-то таблетки.

Врачиха в сопровождении сестры наконец поднимается по лестнице. Они торопливо моют руки, достают шприц. Зорин не может вытерпеть этого зрелища... Они бесцеремонно поворачивают девочку на живот, обнажают попку, и Зорин почти физически сам ощущает, как игла впивается в Лялькино тело...

Врач выписывает какую-то бумажку и сует Зорину.

— Если будут судороги, вызывайте «скорую помощь». Я выписала на всякий случай направление в больницу...

Сестра и врач так же торопливо спускаются по лестнице. Зорин беспомощно глядит им вслед: «На всякий случай... Это же чистейшая перестраховка. Здоровье ребенка на втором плане, ей важнее бумажкой снять с себя ответственность. Ей не хочется ни за что отвечать».

Бессонная ночь проходит жутким бесконечным кошмаром. Утром является та же врачиха, она вызывает по соседскому телефону машину. Девочку вместе с женой увозят в больницу. Зорин остается один. В стихшей осиротевшей квартире, как лунатик, он бродит по комнатам. При виде розовой Лялькиной кофточки он ощущает такой страх, такую жгучую боль, что закрывает глаза. Он машинально берет полушубок, хватается за карманы. Две новых пятерки, зажатые в кулаке, приводят его ко вчерашней «Смешинке», он просит официантку принести ему бутылку «рислинга». Но «рислинга» нет сегодня, и он пьет отвратительную теплую «перцовку». Странно, ему не становится от этого легче. Он заказывает еще, делает несколько глотков и вдруг мысленно, четко произносит сам себе: «Ты сейчас же едешь в больницу, сейчас же».

Он рассчитывается и идет вон.

Ночной, уже очищенный от машинных газов, воздух охватывает похудевшее лицо Зорина, город мерцает бесчисленными жел-

тыми точками. На улице совсем пустынно.

К остановке такси одновременно с Зориным подходят трое длинных волосатых мальчишек. Они бренчат на гитарах и поют что-то удивительно бессмысленное, колотят по гитаре ладонью и поют. Голоса у них, как у молодых петухов, еще со скрипом. Парни явно навеселе. «Современные менестрели...— думает Зорин.— Им ни до чего нет дела».

— Эй, дядя, а ну отвали!— парень с гитарой вразвалку идет к машине.

Зорин садится в такси, но один из парней открывает дверцу:

— А ну, рви отсюда.

— Что?

— Рви, говорю, отсюда!

Зорин выходит из машины и смотрит на юную, едва знакомую с бритвой физиономию:

— Что?

— Я сказал, чтобы ты отвалил.

— А я что-то не помню, когда мы пили на брудершафт.— Зорин снова берется за ручку машины.

Парень несильно бьет его по руке. Двое других, улыбаясь, глядят на Зорина. Он берет парня за руку и сжимает до хруста, с ненавистью глядит в чистое, без единого прыщика лицо:

— Послушайте, вы...

Сильный удар сзади, в голову, чуть не сбивает Зорина с ног. Он успевает повернуться, но второй удар, уже в лицо, ослепляет его. Зорин инстинктивно, по памяти, изо всех сил сует кулаком в пространство, но удар лишь скользит по какому-то подбородку. Слышит-

ся заливистый свисток милиционера. Зорин видит, как парни убегают во двор, он бежит за ними, но второй милиционер хватает его и выворачивает назад руки... Его толкают в коляску мотоцикла. На секунду Зорину становится почему-то смешно...

— Товарищ сержант!

Сержант, не отзываясь, пытается завести мотоцикл. Зорин вновь говорит:

— А товарищ сержант?

— Сиди, сиди.

— Вы что, одного меня!

Сержант не отзывается. Мотоцикл фыркает, и Зорину кажется, что он сейчас сойдет с ума. Он поворачивается, взглядом ищет глаза шофера такси:

— Слушай, дружище, ты же видел, слушай...

Шофер отводит свой взгляд, его машина фыркает и разворачивается.

Зорин крепко сжимает челюсти:

— Гады... сволочи...

— Сиди, сиди,— говорит милиционер.— Ишь какой петух!

В отделении один из милиционеров заполняет типографский бланк протокола и, не глядя на Зорина, выходит из комнаты. Старшина, сидящий за деревянным барьером, разговаривает с кем-то по телефону. Зорин терпеливо ждет.

— Товарищ старшина, почему меня задержали?

— Потому что окончание на «у». Подпиши протокол.

Зорин читает протокол и возвращает его старшине:

— Зесь все не так. Я не могу подписать...

Старшина невозмутимо выходит куда-то в коридор. Зорин провожает его насмешливым взглядом и остается в дежурке совершенно один. Он ждет пять, десять минут, но на него никто не обращает внимания.

Наконец старшина появляется в комнате:

— В последний раз спрашиваю...

— Что?

— Подпишешь или нет?

— Нет.

— Ну хорошо.— Старшина поднимается за барьером.— Сержант Федорчук!

— Я прошу позвать дежурного офицера,— говорит Зорин как можно спокойнее.

— Дежурный занят!— взрывается старшина, переходя на крик.— Законник какой! Меньше пить надо. И хулиганить на улицах!

— Я не хулиганил. Позовите, пожалуйста, дежурного офицера.

— Федорчук!

Сержант Федорчук появляется в дежурной комнате.

— Федорчук, отвезешь его в медвытрезвитель. Пусть пофорсит стриженым. Дежурного, видите ли, ему...

— Пошли.— Федорчук крепко берет Зорина за локоть.

Краска заливает Зорину лицо, уши и шею, он отстраняет сержанта и подходит к барьеру... В это же время в комнате появляется дежурный офицер — совсем еще молодой лейтенант:

— Федорчук, в чем дело?

— Сопротивление, товарищ лейтенант.

— Пьяный,— добавляет старшина.— Учинил драку на улице, протокол не подписывает.

— Я не пьян!— Зорин собирает в комок всю свою и без того небогатую выдержку.— И драку начал не я. Товарищ лейтенант...

— Сядьте!— лейтенант читает зоринский протокол.— Так. Придется вам посидеть суток десять. Где вы работаете?

— Разве это имеет какое-то значение? При таких обстоятельствах...

Лейтенант окидывает Зорина оценивающим взглядом, в это время в комнату дежурного кто-то громко стучит.

— Да, войдите,— лейтенант закуривает. В дежурку входит давешний таксист, и Зорин с презрением смотрит ему в глаза.

— Товарищ дежурный,— слышит Зорин голос шофера.— Он же не виноват.

— А вы кто такой?

— Я же видел, он не виноват.

— Федорчук, одну минуту...

* * *

Зорин выходит из отделения вместе с таксистом. Левый глаз совсем заволокло опухолью, во рту горько от табачной кислятины, но горловый комок понемногу рассасывается и исчезает.

— Садись, свезу куда надо,— приглашает шофер.— Здорово они тебя?

— Кто?— Зорин садится рядом с таксистом.

— Да эти, сопляки-то.

— Ничего.

— Откуда только берутся,— таксист долго жмет на стартер.— Как клопы... А ты из-

вини, у меня вызов был. Не мог сразу ехать с тобой.

— Спасибо.— Зорин глядит на часы. Как ни странно, а на все происшествие вместе с этой дурацкой «Смешинкой» ушло всего полтора часа.— Спасибо...

— Ладно, чего там. Давай, будь здоров.

Зорин выходит около детской больницы. Он забегает в больничный подъезд, разыскивает телефон и поочередно звонит на оба терапевтических отделения: «Але? Да. Девочка. Поступила сегодня. Что? Без изменений? А мать? Скажите, мать с ней?»

В его ушах еще долго стоит разноголосый детский плач и крик, услышанный из отделения по телефону. Зорин вновь совершенно растерян: «Она ушла ночевать домой. Там Лялька одна, в жару и в бреду, а жена ушла ночевать домой...» Он долго ходит вокруг больницы, смотрит на непотухающие окна громадного пятиэтажного здания.

4

Весна прет без разбора из-под каждой городской подворотни, из каждого скверика. Водоприемники, не успевая глотать мутную воду, захлебываются, принимают в свои недра зимнюю грязь. В центре уже сохнет асфальт и ничто не напоминает о бесконечной зиме, зато на окраинах и задворках заглавных улиц не пройдешь, везде жижа из грязи и серого снега.

На объектах повсюду вытаивают зимние строительные грехи: там полмешка цемента, тут куча расколотого кирпича или коричневой

звукоизоляционной ваты. Зорин смотрит на все это с легким стыдом: это под его чутким руководством разбросаны на стройплощадках денежные обрезки. А что он мог сделать? Не будешь же стоять у каждого самосвала, когда возят кирпич. Никогда не научишь Букина тому, что не стоит выписывать новые рукавицы, если на старых ни одной дырки. А разве можно убедить Трошину в том, что раствор нельзя оставлять в ящике до утра? Хоть ящик, хоть пол-ящика, а как только стукнет пять часиков, она вываливает остатки прямо на грунт. Привезут нового, жалеть нечего. На каждом собрании и летучке Зорину твердят о плане и графике. Скорей, скорей, только бы сдать дом, тут не до экономии, лишь бы спихнуть объект приемной комиссии.

У него голова поседела от этих объектов. И все-таки воздух пахнет тающим снегом, небо над городом синее, словно в детстве, и все везде тепло, солнечно, даже в проемах холодного шестидесятиквартирного, где еще свищут зимние пронизывающие сквозняки.

Надо бы сменить полушубок на пальто. Но Зорин уже больше недели не ходит домой. После очередной жестокой ссоры, завершившейся пощечиной жене, он ушел ночевать в тепляк. Фридбург на своем залатанном «Москвиче» увез Зорина к себе домой. Но после двух ночей, проведенных в чинной, фальшиво-доброжелательной атмосфере еврейской семьи, Зорин ушел ночевать к дяде Паше, а вчера перебрался к Сашке Голубеву: было стыдно ночевать у других больше двух раз. И все же сегодня у него хорошо на душе. Хорошо, потому что завтра Ляльку выпишут из больницы. Дочка

пролежала там чуть ли не месяц, у нее было воспаление обоих легких.

Сорокаквартирный давно сдан, крановщик Козлов получил в нем квартиру, а Трошина, проведав о зоринских семейных делах, уже не матерится, по крайней мере при нем.

Да, все идет своим чередом. И не беда, что Сашку Голубева оштрафовали вчера за то, что его самосвалы развозят по городу грязь, а его, Зорина, вызывают сегодня на административную комиссию.

Это результат все еще того вечера. Или того письма, которое Тонька послала на производство? Зорин гадает и прикидывает, ему чуть грустно, но больше смешно. Он было уже решил не ходить на комиссию, пусть бы штрафовали, как Сашку Голубева, но ему любопытно, что там будет.

Он собирает в тепляке бригадиров и дает им задание на завтра. Смотрит на часы и, не торопясь, уходит с объекта. Еще есть время поесть в этой злополучной «Смешинке». Он заказывает рубленый бифштекс, с аппетитом съедает картофельное пюре. И улыбается: Сашка Голубев сказал бы сейчас, что крахмал придает твердость одним только воротничкам и манжетам.

Зорин является на комиссию из минуты в минуту. Человек пятнадцать мужчин его, зоринского, возраста, выдвигают предложения, обмениваются мнениями. Кое-кто пытается юмором загладить неловкость и шутками скомпенсировать запрещение курить.

— А не взатяжку-то можно?

Вероятно, посетители вызываются по алфавиту. Зорин слышит свою фамилию и за-

ходит в большую комнату, пропахшую табачной золой и бумажной пылью. Он садится у двери, но тут же встает, чтобы отвечать на вопросы.

— Вы у Кузнецова работаете?

— Да.

— Оно и видно, каков поп, таков и приход.

Зорин внутренне взрывается, ему обидно за своего начальника, но он молчит, вспоминая второй зарок. Семь членов административной комиссии сидят по обеим сторонам стола, покрытого листами цветной бумаги. Красный уголок штаба народных дружин, где заседает комиссия, пропах табачной золой начисто, и от этого курить хочется больше.

— Продолжим, товарищи,— говорит председательствующий.— У кого есть вопросы?

— Разрешите, товарищ Табаков, у меня к нему вопросик.

— Пожалуйста.

Наголо обритый дедушка достает карандашик из нагрудного кармана диагоналевого, с глухим воротом, кителя.

— Во-первых, где и как напился. Во-вторых, с кем, в-третьих, как думаешь дальше. Встань, расскажи.

Зорин чувствует, как жилка опять играет у него на виске.

— Во-первых, обращайтесь со мной на «вы», во-вторых...

Поднимается шум:

— Безобразие, как он себя ведет?!

— Не забывайте, где вы находитесь!

— Кто кого здесь разбирает?

— Вы посмотрите, он еще и улыбается!

Председательствующий стучит карандашом по графину:

— Товарищ Зорин, вы будете отвечать на вопросы?

— Буду,— Зорин смотрит прямо в переносицу председателя комиссии Табакова.— Но я бы хотел, чтобы со мной обращались на «вы». Я не мальчишка...

За столом вновь прокатывается рокот искреннего возмущения. Дедушка в кителе кладет карандашик и, качая головой, с горькой иронией обиженного говорит:

— А кто же вы, товарищ Зорин? Вы же мне во внуки годитесь, ты же еще без штанов бегал, когда я...

— Да что с ним разговаривать?

— Распустились, ни стыда, ни совести!

— Ну, хорошо,— Табаков снова стучит по графину,— прошу вниманья!

Зорин видит, как Табаков старчески суетливым движением складывает носовой платок и аккуратно прячет в карман. Бритый дедушка укладывает очки в футляр. Зорин замечает, что дужка очков сломана и замотана какой-то тряпочкой. Девушка-секретарша с высокой, пузырем, прической невозмутимо пишет протокол... Толстая пожилая женщина возмущенно хрустит пальцами: Зорин ясно видит бородавку на ее подбородке и мучительно вспоминает что-то давнишнее, ускользающее. Где же он видел это лицо? Те же четыре или пять волосиков на бородавке... Ну, да это она, та самая женщина... Только волоски на бородавке тогда были черными, не седыми, а прическа осталась прежней и бюст лишь слегка сравнялся с животом. Там,

в районном загсе, она была совсем молодая. Женщина глядит на Зорина, как на неисправимого преступника:

— Скажите, товарищ Зорин, почему вы ушли из семьи?

— Из семьи?— Зорин слегка ошарашен. Оказывается, и это известно. Неужели Тоня?

— Да, из семьи,— повторяет женщина.

— А какое вам дело?

Сначала ему приятно наблюдать, как у нее от возмущения открывается рот и челюсть как бы отваливается. Но уже через несколько секунд ему становится жалко ее, губы у нее дрожат, пухлые руки растерянно мнут крохотный дамский платочек. Члены комиссии возмущены и потрясены зоринским поведением, ему предлагают выйти и подождать решения комиссии.

Зорин выходит в коридор и, не останавливаясь, шагает на улицу. Автобуса нет, он топает, к Голубевым. «Ну и ну!— думает он.— Ну и ну...» Ему вновь, как тогда, когда сидел в милицейской коляске, на секунду становится смешно.

У Голубевых он, отказавшись от ужина, снимает пиджак и ботинки. Молча садится на диван, берет номер журнала «Знание — сила». В статье всерьез говорится о поэтических возможностях электронных машин. Зорин бросает журнал. В висках и в темени нарастает какая-то новая боль, и он плохо воспринимает то, что говорит Сашка:

— Пойдем в кино, хватит по вечерам давить ухо. Подруга дней моих суровых, у тебя три билета? Очень хорошо. А где мой чешский галстук?

Зорин, очнувшись, отказывается от кино и включает телевизор.

— Саш, а чего вы не заведете ребенка?

— Ну, не знаю.— Сашка морщится.— Чего ты лично ко мне пристал? Я, может, и не прочь стать папашей. Спроси вон ее, почему она... Подруга дней моих суровых, ты хочешь ребеночка? Адью, старик, мы пошли.

Супруги Голубевы исчезают, они идут в кино. Зорин вытаскивает из шкафа постель и раздвигает диван-кровать. Ставит к изголовью Сашкину пепельницу, которая сделана в виде свернувшейся русалки. «В женщинах и правда есть что-то рыбье,— думает он.— По крайней мере, в наших с Голубевым. У Сашкиной половины уже на счету шесть или семь абортов. Какая-то рыбья, холодная кровь. И сердце... Русалка — это женщина-утопленница. А Тонька разве не утопленница? Она давно утонула в своей дурацкой работе, она чокнулась на эмансипации, хотя еле волочит ноги. Им думается, что чем они сильнее, тем для них лучше. Они хотят быть независимыми. Они рассуждают с мужьями с позиции силы. И это не так уж плохо у них получается. Сажают мужей в тюрьму, пишут на них бумаги. Да, но кого же тогда защищать мужчинам? Жалеть и любить? Самих себя, что ли?»

Зорин тяжко ворочается, он не может уснуть и то и дело курит. Мысли его вновь и вновь возвращаются к жене, к дочери. Телеэкран мерцает где-то в углу, слова передачи, не проникая в сознание, словно долбят по темени.

Голубевы возвращаются молча,— вероятно, поссорились еще во время сеанса. На вопрос, понравилась ли картина, Сашка бурчит себе под нос: «Шедевр!» Идет в ванную и долго не вылезает оттуда. Затем, босиком и в одних трусах, он ходит по ковру, выкидывая костлявые ноги. Теплая ванна вновь приводит его в добродушное состояние, он философствует:

— Вот, объясни мне пушкинского Савельича. Только с марксистских позиций. Да? Ну это ты брось. Брось! А помнишь заячий тулупчик? Старик даже записал его в реестр разграбленных пугачевцами вещей. Не струсил. Вот тебе и лакей.

— Саш, чего бы ты хотел после смерти?— Зорин выключает голубевский телевизор.

— Что?

— Чего бы ты хотел после смерти?

— Чтобы выстригли волосы в носу. Ненавижу, когда у покойника торчат из носу волосы.

— Глупый дурак!— слышится с кухни голос Сашкиной жены.— Говорит и сам не знает чего.

— Знаю,— Голубев подмигивает.— Подруга дней моих суровых, а ты не боишься смерти?

— Вынеси лучше ведро.

— Вот! Она ни черта не боится.— Голубев натягивает спортивные штаны.— Даже смерти.

— И возьми корзинку, наберешь в подвале картошки.

Голубев возвращается с картошкой и с пустым мусорным ведром. Зорин сквозь сон слышит, как они с женой добродушно по-

ругиваются. Прежде чем идти спать, Сашка садится на пол:

— Костя, а Костя?

— Что?

— Почему бы вам с Тонькой не помириться? Не дурачься. В твоем возрасте начинают понимать даже фортепьянную музыку... Что? Ладно, дрыхни. Не хочешь слушать лучших и преданнейших друзей.

* * *

Утром, придя на объект, Зорин едва успевает провести пятиминутку и поговорить с бригадирами. По телефону его вызывает к себе Воробьев. Зорин едет в контору. В комнате ПТО он рассеянно здоровается и курит с Фридбургом.

— Этот у себя?

— Здесь.— Фридбург берет Зорина за локоть.— Брось, старик. Не задирайся...

Зорин, не отвечая, идет в кабинет Воробьева.

— Садитесь, товарищ Зорин.— Воробьев берет со стола какую-то бумажку.— Административная комиссия советует нам уволить вас с работы...

— Да?

— По статье...

— Мне не интересно по какой статье.— Зорин спокойно встает со стула.— Когда можно получить документы?

— Рекомендую написать заявление.

Зорин пишет заявление прямо в кабинете у Воробьева.

Воробьев старательно ставит резолюцию: «Просьбу удовлетворить». Зорин, тоже стара-

тельно, прикрывает за собой дверь, идет по коридору, прямо в отдел кадров.

Здесь, за столом начальника отдела кадров, как за своим, сидит почему-то сам Кузнецов. Видно, вышел из отпуска раньше времени. Начальник стройуправления загорел, встретил весну где-то на юге. Глаза его при виде Зорина загораются веселыми огоньками. Он здоровается с Зориным за руку и, видимо, сразу соображает, что к чему, осторожно выманивает у Зорина листок бумаги:

— Ну, ну, что это у тебя за цидуля?

Зорин пытается не отдавать заявление. Но Кузнецов настойчиво и как бы шутя добивается своего. Он берет заявление и, не читая, задумчиво складывает, рвет пополам, потом на четвертушки... Бросает обрывки в корзину:

— Что у тебя с шестидесятиквартирным? Гляди, чтобы к Октябрьской, как штык...

Зорину хочется возмутиться, но у него ничего из этого не выходит.

— Андрей Семенович...

— А как на трассе? Плывун все еще есть?

— Шпунт приходится бить.

— Давай!

Кузнецов чешет затылок, разглядывая очередную, подсунутую кем-то бумагу. Он еще не дошел даже до кабинета, его осаждают со всех сторон. Зорин вздыхает и, потоптавшись, растерянно поворачивается. Выходит. У дверей в коридоре он замирает еще на секунду, потом, махнув рукой, выбегает на улицу и едет на объект с первым же самосвалом.

Самосвал рычит и катит мимо трестовского дома, огибает универмаг с фигурами тонконогих женских манекенов.

«Завтра получка,— вспоминается Зорину.— Надо купить Тоньке обещанный гэдээровский плащ... Кажется, у нее сорок четвертый. Или сорок шестой?»

Солнце греет и бьет в упор, прямо в кабину. Зима снова кончилась, зоринская сороковая зима. Идут обычные будни. Весенние будни прораба Зорина. Ка. Пе. Стоп!

Вот он, его шестидесятиквартирный. Дядя Паша кладет уже третий этаж. Плотники сколачивают времянки, лебедка тарахтит, а самое главное... «Что главное? Все главное. Ничего, еще поскрипим. Сегодня Ляльку выписывают из больницы...» Зорин, улыбаясь шоферу, распахивает полушубок и на ходу прыгает из кабины.

Свидания по утрам

Бабушка вставала в шестом часу, когда на улице начинали шуметь машины. Теперь сон у нее некрепкий, она всю ночь спит и думает. Вот прошел за окном первый, наверное еще пустой, троллейбус. В нем каждый раз что-то щелкает, ей чудится, что машина с утра сломалась. Худо они глядят за машинами-то! Машин много, а не берегут...

Сегодня суббота. Тревога за предстоящий день начиналась еще с вечера. Сейчас эта тревога сразу охватывает старое сердце. Суббот и праздников бабушка начала бояться. Раньше, когда жила в деревне, радовалась, теперь начала бояться. Вот и сегодня что-то опять будет? Вчера зять поздно пришел домой, а дочка не стала с ним разговаривать.

Спали опять врозь.

Бабушка тихонько, ногами, нащупывает обутку. Сует ноги в тапочки и, сдержав кашель, чтобы не разбудить внучку, шепчет: «Спи, матушка, спи! Христос с тобой. В садик сегодня не надо».

Внучка от того, от первого зятя — спит с бабушкой. Как отсадили от сиськи, так все и прибаливает. Бывало, зайдется ревом, а дочка из себя тут же и выйдет. Кинет ребеночка на кровать, как чужого. А все потому, что *невры*. Худые нынче невры-то, у многих очень плохие.

Так думает она, подтыкая одеяло у раскидавшегося в постели ребенка.

Дорога в туалет сейчас для нее самая главная. Тут и всего-то четыре шага. Да ведь надо еще и двери открыть — двои — и пройти по паркету. А паркет скрипит, не помогают и половики, что привезли из деревни. Нарочно для них ткала. Дочка приказала в письме, когда открылась мода на многое деревенское. И то сказать — мода не мода, а ковров не напокупаешься.

Она осторожно открывает дверь в коридорчик. Тихо ступает по половикам. Но паркет все равно скрипит, как будто под него накладено сухой бересты. Слава богу, в ихней комнате не услышали. Теперь бы еще открыть, благословясь, дверцу. Дверца-то тоже скрипит, да и выключатель щелкает очень шибко. Она решает не включать свет, в туалете все-таки есть окно с кухни, можно и в сумерках. Даже и лучше. Новый зять весь туалет заклеил картинками, а на картинках одни голые девки. Ей всегда стыдно глядеть на этих — чуть не в чем мать родила. Такие висят *щепери.* Но что сделаешь? Дело *ихнее.* Бабушка вздыхает и опять думает, как быть. Надо бы по-настоящему спустить воду, но подымешь такой шум, что прямо беда. Не спустишь — тоже грех. Дочка ругает за шум, зять сердится, что остается запах, не знаешь, кого слушать, кому угодить...

Она опять решает половина на половину: спускает не всю воду, а только часть, осторожно, чтобы не булькало. С мытьем-то ладно, можно и подождать. Она так же тихо

возвращается в свою шестиметровую комнатку, где спит внучка.

Резкий, но какой-то коротенький, словно бы стыдливый звонок слышится от входных дверей. Бабушка, затаив дыхание, на цыпочках подходит к своей двери. «Господи, что и делать, не знаешь. Не откроешь, так ведь позвонят еще, всех перебудят. А и открывать тоже нельзя. Хоть бы зять пробудился да вышел. Может, к нему...»

Она напряженно ждет: авось и уйдут. Подкрадывается к двери и прислушивается. Нет не ушли. Слышно явственно: за дверями есть кто-то. Уж лучше открыть.

Она осторожно, без шуму, поворачивает ручку замка и тихонько приоткрывает дверь.

Лысый старичок в сапогах, в хлопчатобумажном сером пиджачке, держа кепку в руках, мнется у дверей.

— Доброго здоровьица! — громко говорит он, и бабушка машет на него руками: «Тише, тише!..»

Старичок переставляет с места на место рюкзак и тоже переходит на шепот:

— Мне бы, это... Я, значит, Костю-то... Нет Констенкина-то?

— Нету, нету

— Дак он где? Не в командировке?

— Не знаю, не знаю, батюшко. Он тут не живет тепере.

— Переехал?

— Переехал, переехал. А ты чей будешь-то?

— Да я, значит это... Скажи Констенкину-то, что Смолин был. Олеша, значит... Ну, извините, пожалуйста.

— С богом.

Бабушка осторожно прикрывает дверь. Хорошо, что никто не проснулся. Пусть спят, со Христом, тоже намаялись за неделю-то, с почтением думает она о зяте, дочери и о зятевой сестре, которая приехала из другого города, поступать. Вот и шесть часов на будильнике. Прочитав молитву, она садится в ногах у внучки. Очень худо и неприятно сидеть так, без дела. И дела-то много, а они пробудятся в девять, не раньше. Можно бы повязать на спицах, да шерсть как раз кончилась. Надо бы написать сыну письмо, да ведь и бумага и конверты у них в комнате. Сходить бы за хлебом и молоком, но магазин открывается только в восемь часов. Делать пока нечего. Думы сами окружают со всех сторон. А все думы только о них, о детках. Сыновья далеко, но сердце о них болит. Один, офицер, служит в Германии,— это самый младший. Другой живет в Сибири, уехал еще подростком. Одна дочка в Москве, другая — самая старшая — живет в поселке. У той мужик не пьющий, ремесленный. Об них и думать в полагоря, живут хорошо. Сами обзавелись внуками. А вот тутошнюю дочерь, хоть и на глазах, а жаль больше всех. Живут как на вокзале. Сама стала как щепка, с этим мужиком тоже ругается чуть ли не через день. С первым развелась из-за пьянки. Второй хоть и не пьет, зато какой-то *овыденной,* а не самостоятельный. Сам хуже любой бабы. Спорят о пустяках, а чего бы и спорить? Деньги есть, сыты, обуты. Слава богу, время наладилось, в магазинах всего полно. Бывало, раньше ситец-то в лавку при-

везут — покупали по жеребью. А теперь не знают, чего надеть, подарки берут на каждый праздник. А праздники — идут гужом. А меж-то собой? Зачастую как собаки. «Разве этому я ее учила?» — про себя, горько произносит бабушка.

И ей вспоминается давнее время. Давнее, но такое ясное, тутошнее, как будто и не ушло. Мужики с женами раньше не спали врозь. Ежели только на войну уйдут либо на заработки. А теперь-то? Бабам детей рожать лень, мужики разучились кормить семью.

Разве это мужик, ежели зарабатывает меньше жены?

И вдруг ей становится стыдно, что пробирает людей. Она торопливым шепотом ругает сама себя и вспоминает вчерашнее письмо из деревни.

Жалко. Жалко всех — страдающих ныне и тех, что отмучились. Вон, пишут в письме, суседушко порядовный, моложе ее, а умер. Собирался жить до девяноста годов. Не забыть помянуть в церкви. О, сколь много перетерпел человек! И ранен и граблен был. Кожу сдирали в плену, в глаза харкали.

Она вспоминает и собственного мужа, сгинувшего в последней войне. За ним приходит в память свекровушка, золовки и деверья. Что говорить, не больно ласкова была, покойница. Да справедлива. У самовара, бывало, сидит, первую чашку мужу, вторую сыну. А третью-то не себе и не малолетним золовкам, а ей, невестке. Свекор тоже — не враз, да оттаял, зато потом не давал никому в обиду.

Суров был старик, чего говорить. Грех вспоминать, пришла в дом, крутилась будто на сулее. Один раз подметала избу, глядит, а под лавкой лежит серебряный рубль. В доме одна-одинешенька. Глупое дело, не догадалась сразу-то, что нарочно подкинут, да все равно перед паужной денежку подала старику: «Вот, тятя, нашла под лавкой». Уж так был доволен да рад! Похвалил, погладил по голове как маленькую. Золовка старшая коров не продаивала, сделал большухой ее, невестку. Долга жизнь, ох долга, много можно успеть.

Мысли бабушки текут одна за другой, но вот заскрипел в коридоре паркет, загремел чайник на кухне. Проснулись, встают. Бабушка вдруг вспоминает, что сегодня воскресенье и что она должна идти гулять со внучкой. У нее начинает болеть душа. Бабушка незаметно подходит к окну и украдкой смотрит на улицу, в ту сторону, где телефонная будка и овощной магазинчик. Тут ли? Тут уже. Стоит, сердечный, в сером плащике, воротник поднят. Курит. Внучка-то еще спит, а он стоит. Вот так каждое воскресенье по утрам, приходит и ждет, пока бабушка с внучкой не выйдут во двор. Но иногда дочка сама ведет гулять девочку в скверик, и тогда он нахлобучивает воротник, закрывается в телефонной будке. И стоит за стеклом, пока они не пройдут.

«О, господи-милостивец!» — вздыхает бабушка. Она берет на руки сонную девочку и выходит с нею туда, *к ним*. Так начинается очередное воскресное утро.

Итак, уже девять часов. Зорин спускается по лесенке овощного подвальчика. Здесь, внизу, стоять не так стыдно. Магазин откроют в одиннадцать, и здесь, внизу, его будут замечать лишь самые любопытные прохожие. Черт знает что это им надо! Неужели им нечего больше делать, не о чем думать? Разве мало у них своих забот? Разглядывают тебя, как мастодонта...

Отсюда хорошо видны окна его бывшей квартиры. Вот в кухне открылась форточка, значит, Тоня зажигает газ и ставит чайник. А может, это курит новый обитатель квартиры?

Зорину горько от того, что Лялька, его дочь, и этот новый обитатель живут вместе в этой, в одной квартире. Во рту тоже горько, от сигарет. Ведь не курил же тринадцать месяцев. И уже совсем не тянуло, окружающий дым раздражал, как это бесцеремонное рассматривание. Ему вспоминается тот день, вернее, ночь, когда он вновь глотнул этой заразы, после чего начал палить с еще большей яростью. Был какой-то очередной праздник плюс два выходных, — считай, за всю неделю на стройке не положили ни кирпича. О, эти праздники! Зорин пришел с женой в гости к Голубевым, все началось довольно чинно. Какая-то дамочка, родственница Голубевым, то нервно хихикала, то вдруг гордо замолкала. Какой-то пижон ставил битлов, кто-то порывался говорить высокомудрые речи. Все это быстренько завершилось содомской попойкой, кто-то с кем-то топтался под радиолу, кто-то с кем-то пел что-то, а Зорин ушел в соседнюю комнату, уселся в кресло. Пьяный Голубев вошел следом, икая, облапил Зорина:

— С-с-старик, здесь три комнаты. Те двое уже закрылись, а мы ч-ч-то, рыжие? П-предлагаю такой вариант... Я н-надоел своей как цуцик, х-х-хочешь — сменяемся? Разумеется, временно.

Зорин отрезвел и сжался. Что-то задрожало внутри. Хуже всего было то, что жена Голубева слишком тесно жмется к партнеру по танцам. Зорин с минуту глядел на Голубева, запоминая его бессмысленную улыбку. И вдруг вскочил с кресла, изо всех сил врезал ему в скулу... Голубев полетел головой в шифоньер. Зорин с трудом вспоминал то, что было дальше, как ушел, бросив жену, как пил еще с кем-то и просил закурить у какого-то встречного парня. На второй день Голубев пришел с бутылкой и долго морщился, когда Тоня язвительно воспитывала Зорина:

— Ты бы хоть извинился перед человеком!

Зорин молчал, сжимая зубы. Когда она ушла, Голубев достал из-за трельяжа принесенный коньяк:

— С-с-старик, извиняться не стоит. Ты был прав. Я свинья, но при чем тут наш шифоньер? У него такой жалкий вид...

Обижаться на него было почти невозможно. Брезгливая жалость к нему долго бесила Зорина. В горячке всю эту отвратительную историю Зорин выложил однажды Тоне, а в той вдруг взыграла ревность. Правда, ему до сих пор кажется, что ревность эта была неискренна, он и сейчас почти уверен, что жена притворялась.

Зорин опять глядит на часы, уже двадцать минут десятого.

Такие женщины, как Тоня, вначале демагогично приписывают мужьям собственные грехи, затем привыкают к этому и начинают уже совершенно искренне верить в мужскую неверность. Ах, боже мой, эдакие, право, прелестницы... Холостяцкая жизнь заставила Зорина еще чаще шататься по ресторанам, он частенько видит такие картины: женщины сидят в компании без мужчин. Собираются по шесть — восемь дамочек, складываются по трешнику и идут в ресторан обедать. С наслаждением рассказывают о своих же мужьях. В таких случаях да еще после портвейна они почему-то перестают замечать окружающих, становятся развязными и соревнуются в остроумии.

«Вы знаете, оказывается...» — «Нет, а вы знаете?»

Вчера, невольно прислушиваясь к такой компании, Зорин уловил необычный голос:

— Их кормить надо.

Но та, которая считала, что мужчин надо кормить для того, чтобы они меньше пили, оказалась в таком жутком меньшинстве, что тут же замолкла. На нее дружно обрушились остальные:

— Буду я этого идиота кормить!

— Была нужда.

— Он придет с работы да газетку в руки, а ты как заведенная. Одного белья сколько.

— Да чего ее слушать? Она же влюблена в своего Славика!

Оказывается, что и любить Славика, то есть собственного мужа, уже не современно с точки зрения такой веселой компании. Тоня всегда обвиняла Зорина в черствости, в не-

уважении к женщинам и... наконец, в домостроевщине. Если никого не было поблизости, он тут же взвивался: «Домострой! Ты хоть читала его, этот «Домострой?»—«Не читала и читать не хочу».—«А ты знаешь, что «Домострой» проповедует мужскую верность?» Но она уже не способна вникать в такие тонкости, она искренне оскорблена его деспотическим поведением. Так начинались все их ссоры. Он наконец научился уступать ей и делать так, как хочет она. Научился не спорить и соглашаться. Но это не спасало от бед ни его, ни ее. Стойкая привычка противопоставления, ожидание вечных подвохов от всех, в том числе и от собственного мужа, постоянная, превращающаяся в агрессивность, готовность к обороне—все это заставляло ее протестовать во всех случаях. Однажды ради эксперимента он решил не настаивать на своем, и делать только так, как хочет она. И что же? Вместо обвинения в домострое и деспотизме появилось нечто совсем для него неожиданное: «Что ты за мужчина? Не мог настоять на своем. Не надо было меня слушаться!»—«Но ведь ты обвиняла бы меня в деспотизме!»—«Да?»—и так далее. Он изучил все детали этой удивительной ситуации. Вначале он бесился и жалел сам себя, но мало-помалу привык к безысходности, научился программировать не только свое, но и ее поведение. И тут, эта история с Голубевым... Вернее, с тем мальчишкой...

Уже десять часов. Скоро придут открывать магазин, придется сделать вид, что явился за баклажанной икрой. В доме напротив кто-то на полную мощность включил маг и динамик

выставил в открытую форточку. Почему? Почему он, Зорин, мечтающий о тишине, обязан слушать эту белиберду? Современная кавказско-украинская мелодия с русским акцентом. Для Зорина она ассоциируется с тем позорным, как ему кажется, периодом жизни, когда разводился с женой. Тот прыщавый парень был не по возрасту настойчив. Он фланировал около дома почти ежедневно, причем всегда с этим дурацким транзистором.

Тоне наверняка нравилось это преследование. Это уж точно. Оно не только забавляло ее, но и льстило ее громадных размеров самолюбию. Как же, в нее влюблены! У нее бальзаковский возраст, но в нее влюблены, на вот, выкуси, муженек. Ты ругаешься и хамишь, ты приходишь домой пьяным, от тебя не дождешься ласкового словечка — так на вот тебе. Какой же она дала повод?

Зорин краснеет, ему противно это позднее собственное волнение. Всего скорей, поводом было обычное кокетничание в библиотечном стационаре. Может быть, она позволила ему сесть рядом в автобусе, может, поглядела в глаза с улыбочкой, — много ли надо свеженькому мальчишке, изнывающему от похоти? Он, Зорин, убежден, что дальше этих визитов у него не пошло. Она благоразумна. Ей достаточно и того, что в нее влюблены. Но какая же разница? Она не пошла дальше лишь из-за боязни, из-за трусости. Ее непоследовательность лишь подтверждает первоначальную испорченность. Разве порок перестает быть пороком от того, что не реализован? Он, Зорин, всегда был верен своей жене. Он любил ее. Ему всегда становилось гнусно от

дамских штучек, он терпеть не мог этих откровенных намеков, взглядов встречных, совершенно незнакомых женщин, этих прищуров, полуулыбок. Нормальные, неиспорченные женщины не смотрят в глаза незнакомых мужчин. Они идут по улице нормально. Мерзость и грязь самих мужчин не пристает к ним, они чисты даже в самой отвратительной обстановке. Много ли их, таких?

Тот прыщавый балбес обнаглел до того, что однажды залез в песочницу, где играла его дочь. В другой раз приперся в подъезд и поднялся на лестничную площадку. Зорин как раз выносил мусорное ведро и едва удержался, чтобы не надеть это ведро ему на голову. «Послушай, шеф, — сказал тогда Зорин. — Если ты не перестанешь сюда ходить, я спущу тебя туда. Понимаешь? Вниз головой». Парень смотрел на Зорина с вызывающим и отчаянным видом. Он тоже ходил сюда по утрам... Зорин взял его за воротник, как барана свел вниз и тихонько вытолкнул из подъезда: «Пошел!» Парень вдруг очнулся и осмелел.

Ах, все это мерзко... Зорин не удержался в тот день и заперся-таки в эту самую «Смешинку», вернулся поздно и устроил жене дикий допрос с пощечиной. Она упекла его в медвытрезвитель.

О, боже... Да откуда ты знаешь, что дальше-то у них не пошло, что этот оболтус... Тьфу!

Зорин плюется, вспоминая прыщавую физиономию. Так в детстве, когда читал «Капитанскую дочку», он ненавидел Швабрина. Но что это? Те же прыщи и тот же транзистор,

та же нейлоновая куртка, только прибавились рыжеватые полубаки. Парень стоит возле его, зоринской телефонной будки, мусолит сигарету и глазеет туда же, куда и Зорин.

Зорин выходит из своего убежища:

— Послушай, шеф...

Парень испуганно оглядывается.

— Ты проиграл. Мне тебя жаль, но ты тоже поставил не на ту лошадь...

Парень уходит стремительно. В то же время магазин открывает здоровенная тетя, которая знает Зорина. Чтобы не попасть ей на глаза, он ныряет в телефонную будку, с тоской смотрит туда, на угол дома. Уже одиннадцать, неужели бабушка заболела? Сейчас, сейчас... Они должны выйти, должны... Он мог бы зайти в квартиру силой, оттолкнуть Тоньку и силой войти в свою бывшую квартиру. Он даже не разменял ее, ушел в общежитие. Он мог бы по-хорошему поговорить с Тонькиным мужем, договориться, сводить дочку куда-нибудь в детский парк. Но он не хочет, чтобы девочка плакала. Тоня совсем взбесилась, она не желает слышать о Зорине, не считает его отцом дочери. Она утверждает, что вздохнула наконец свободно, что замуж вышла удачно, что у них любовь. Любовь? О, господи... Любовь. Ведь надо же понять, что любовь хороша и уместна лишь в молодости. Один, всего один раз. Они же ждут любви и в сорок, и в пятьдесят лет, когда все кончилось, наивно называя любовью обычный разврат... Надо же понять когда-нибудь им, этим любовникам обоего пола, что после рождения ребенка любая другая «любовь» — предательство. Да и каждый ли человек способен на любовь?

Большинство людей считает любовью желание любить и то, о чем говорят: нравится. Не обладая способностью любить, ждут любви от партнера. Им нужна эта игра в любовь даже и после рождения детей. Что им дети? Чихали они на детские муки! Отцы, скрываясь от алиментов, словно козлы прыгают по стране. Благо в любое время, в любое место можно завербоваться. У многих современных женщин дамское самолюбие сильней материнского чувства. Тоня не принадлежит к меньшинству. Зорин знает, она не раз жертвовала благополучием Ляльки ради своего дурацкого самоутверждения. Он ужаснулся, когда сделал это открытие, потрясшее все его без того издерганное нутро. Он уже не мог любить ее как прежде.

И вот у нее снова любовь... Врет, конечно, это опять игра, жалкая и натужная. Она всегда упрекала его в отсталости, когда он спорил с ней о любви и семье. Она считает, что женщина должна быть свободной и независимой. Но можно ли быть свободным от совести? От материнского или отцовского долга, в конце концов?

Ах, эти гаврики, которые променяли детей на пресловутую свободу — пьяную и тоскливую. Он-то знает их как облупленных. Это им ничего не хочется, кроме пьяного трепу. Женщины не зря презирают их. Такому совершенно все равно, с кем и где спать, с кем и где пить, сколько и где работать. Да, Зорину лучше других известны такие типы. Жена или сожительница легонько сажает его в тюрьму, а он отсидит года два и как ни в чем не бывало является к ней обратно, вновь пьет и ест

за ее счет, пока не попадет в морг либо обратно в тюрьму. Допустим, думает Зорин, что они больны, от них нечего ждать. Но Голубев... Откуда у него-то этот цинизм, это потребительское отношение к миру, к женщинам и даже к себе самому? Не такие ли, как он, не мы ли сами заражаем своей безответственностью своих жен, сестер и детей? Когда женщина превращается в бесполое существо, это вроде бы еще и не так противно, все равно это получается у нее по-женски, то есть не так омерзительно. Хотя тоже, кто знает...

Эмансипация — думает Зорин — нарочно кем-то придуманная вещь. Ведь она заранее предполагает существование неравенства. Но разве можно противопоставлять людей по этой жуткой схеме: мужчина — женщина? Это преступление. Люди делятся всего лишь на добрых и злых. Умных и дураков среди мужчин столько же, сколько среди женщин.

Так думает Зорин, и секундная стрелка на его часах еле шевелится.

Лялька... У него что-то обрывается в груди, когда девочка, подпрыгивая, выбегает из-за угла. Следом выходит мама Тоня, и Зорину становится до слез горько, ему опять не придется обнять, расцеловать, прижать дочку к плечу. Нет, он не сможет допустить дикой дворовой сцены, когда ребенка вырывают из рук и крикливая ругань останавливает прохожих. Что ж, он посмотрит на них из будки и незаметно уйдет... Ура, бабушка! Бабушка, его бывшая теща, тоже появляется во дворе. Она-то знает, что Зорин ждет в будке, она сделает все, чтобы он увиделся с дочерью. Но что же намерена делать мама Тоня? Она идет,

кажется, на работу. Или в магазин? Как всегда, вся в шпаклевке. Как и всегда, спешит. Как и всегда, у нее конфликт с Лялькой, они беспощадно воспитывают друг друга.

— Сейчас же брось эту пакость!

Но Лялька не хочет расстаться с какой-то баночкой, поднятой во дворе.

— Я кому сказала, оставь! Брось!

Лялька молчит. У Зорина сжимается сердце, когда Тоня одной рукой хватает девочку за руку, другой сильно бьет Ляльку по попке. Лялька плачет.

— Дрянь такая, ты будешь меня слушать, ты будешь меня слушать?

— Мама, мама...— Лялька уже захлебывается.— Мама, не бей меня, мама, не надо...

— Ты будешь меня слушать? — новая серия шлепков слышна даже в будке, и Зорин скрипит зубами, он едва сдерживает себя, чтобы не выбежать.

— Ты будешь слушать?

— Лядно, лядно, мама. Мама! Мамочка...

О, этот детский плач, этот родимый голосенко: «Лядно, лядно, мама...» Дочкины слезы на расстоянии жгут Зорина, у него перехватывает горло от жалости к этому маленькому беззащитному существу. Он удивлен, раздавлен бессмысленным избиением этого существа, его дочки. Омерзительная ненависть к бывшей жене, к этой жестокой женщине, тяжко давит в глазах, сейчас он не выдержит, выбежит к ним и сам надает ей пощечин...

— Дрянь такая!— Тоня почти отталкивает плачущую девочку в руки суетящейся около бабушки. И уходит, не оборачиваясь, исчезает в проулке.

«Нет, она не любит ребенка, — мелькает в горячей зоринской голове. — Не любит.. Она не взбесилась бы так, если б любила...»

Сжимая челюсти, он выходит из будки, идет к песочнице. Бабушка успокаивает девочку и не видит его, он останавливается в трех шагах и забывает про все на свете. Все, все исчезает и все забыто: и это общежитие с вечным гулом, и ежедневные воробьевские планерки. И усталость, и горечь. Он счастлив.

Девочка, видимо почуяв отца, замечает Зорина быстрей бабушки; не зная, что делать, глядит на него: «Папа, папа», — выдыхает она сквозь всхлипывание и ступает ему навстречу. Он хватает ее на руки.

«Эх, Ляльчонок, милый ты мой Ляльчонок; что же, что нам делать с тобой, а, доча? Ну, не плачь... Вот тебе новый заяц. Синий? Да, бывают, конечно, бывают даже синие зайцы. Нам не надо реветь, Ляльчонок».

Гримаса боли, отчаяния и недоумения, чередуясь с улыбкой радости, все еще не сходит с ее маленького заплаканного личика. Он достает платок и, не сдерживая собственных слез, вытирает ее, потом успевает благодарно, одной рукой прижать к себе костлявое плечико бабушки. «Наплевать, что пенсионеры глядят, на все наплевать. Правда, Лялька?»

Ее тельце все еще содрогается.

— Папа, ты больше никуда не уйдешь? — медленно успокаиваясь, говорит девочка. И он вновь крепко прижимает к себе этот единственно верный, такой беззащитный родимый комочек жизни.

Чок-получок

Эта история случилась со мной вскоре после того, как Голубев вступил в общество российских охотников. Помнится, третий аборт жены он отметил трехдневным гулом, но, не в пример мне, быстро опомнился и неожиданно вступил в это самое общество. Он купил двустволку. Рыжий гончак Джек появился намного позже, а тогда гордостью Голубева была эта пресловутая двустволка фирмы «Бюхард».

«Бюхард», если употребить это слово в мужском роде, был и правда очень изящен. Он сочетал в себе эдакую немецкую упорядоченность и английский лоск, французскую элегантность и скандинавскую сдержанность. Одновременно голубевская двустволка возбуждала мысль об испорченности и декадансе... Мне казалось, что за ее воронеными узорами теплится тайный порок, а округлые формы цевья и ложи сами по себе выглядели как-то обнаженно и неприлично.

Голубев гордился своим «Бюхардом». Надо честно признать, Сашка был недурным охотником: он превосходно бил влет уток и рябчиков. А когда появилась гончая — никогда не возвращался домой без зайца. Черт бы побрал его и с зайцами, и с этим дурацким «Бюхардом»!

Помню, стояли замечательные осенние дни. Безветренные, теплые, но уже с зимней свежинкой. Сашка был в очередном отпуске. Я взял отгул за три или четыре субботы,

которые угробил во время сдачи объекта. У нас с Тоней как раз был мирный, относительно спокойный период. Надеясь, так сказать, на стабилизацию, я сам предложил ей эту поездку. Голубев обещал нам прекрасные виды, ночлег с вечерней ухой и другие, как он выразился, штучки-дрючки. У Тони также оказались свободные от работы дни. Лялька оставалась на попечении моей только что приехавшей тещи. Все складывалось как нельзя лучше.

В пятницу, в конце дня, мы с Голубевым взяли в прокате палатки и спальные мешки. Закупили продукты. Все было готово к отъезду. Но Голубев с «газиком», который должен был отвезти нас, запоздал, а Тоня неожиданно даже для себя вдруг ринулась в парикмахерскую.

Сцена была бесподобна...

Всю жизнь она стремилась почему-то к этим жутким кудрям, я же почему-то просто не переваривал их. До замужества она еще старалась как-то учитывать это, в общем-то, глупое обстоятельство и носила прямую прическу. (Я действительно любил ее больше с такой, простой прической, когда волосы, просто волосы, а не какие-то завитушки.) Но после нашей женитьбы она вновь начала завиваться. Меня раздражали все эти повсюду валявшиеся бигуди и тряпочки, при помощи которых моя жена ежедневно придавала своей голове нечто кукольное, даже овечье. Мне становилось жалко Тоню.

Меня всегда оскорбляла эта жалость. Мне хотелось видеть свою жену достойной отнюдь не жалости, но когда однажды я сказал ей

об этом, она даже не удосужилась понять меня и тут же пошла в наступление:

— Лучше бы на себя поглядел! Второй год не можешь вставить себе зуб. Сидел бы!

При чем тут мой зуб? Мне стало еще больше жаль ее. Но этот крик и эта манера вечного противопоставления, это постоянное желание видеть во мне объект борьбы — действовали безотказно. Я завелся, как и всегда. С полуоборота. Началась очередная нелепая сцена: «А ты такая, а ты такой. А ты это, а ты то...» Уже через минуту я был взбешен и, чтобы не ударить ее, хлопнул дверью.

Вот тебе и жалость к жене! Она тотчас сменилась жалостью к себе и самой банальной злостью, если не сказать злобой. Наверное, в таких состояниях мы и делаем самые невероятные глупости, тогда-то мы, голубчики, и гибнем! Разумеется, если спасительное чувство юмора вовремя не подставит свой локоток. Но сколько же можно выезжать на юморе? В тот день все вновь повторялось. Я чувствовал это, но маховик раскручивался, и я не мог, вернее, почему-то не хотел его останавливать.

— Без кудрей ты выглядишь намного красивей...

— Понимал бы чего в прическах.

— Но в тебе-то я знаю толк, черт возьми! Ты нравишься мне без кудрей.

— Не кричи.

— И если мне не нравятся кудри, а ты их все равно вьешь, значит, ты хочешь нравится кому-то другому, а не мне.

— Я хочу сама себе нравиться.

— А мне? Ты не хочешь нравиться мне?

— Если ты меня любишь, я должна нравиться тебе в любом виде.

— Я не люблю тебя с кудрями, понимаешь?

— Значит, совсем не любишь. И не любил.

— О, боже!

— Только и знаешь придираться...

Она мазала губы какой-то свинцово-фиолетовой дрянью. Я собрал в кулак все свое самообладание и сказал:

— Это может быть только у нас, русских. Ни одна, например, француженка не наденет на себя то, что не нравится мужу.

Она поглядела на меня и усмехнулась:

— Ты бывал в Париже? Да? Тогда ты должен знать, что ни один француз не обратил бы на такой пустяк никакого внимания. Они уважают женщин.

— Любая француженка не станет делать прическу, которая не нравится мужу! — Мой голос вновь независимо от меня стал громче.

— Любой француз не обратит на это ровно никакого внимания. Он не стал бы грубить, он просто не так воспитан!

...Не знаю, чем бы кончилась эта сказка про белого бычка, если б не Лялька. Держа куклу за левую ногу, она стояла перед нами. Слушала и глядела то на меня, то на мать, по очереди, когда кто говорил, вернее, кричал. В ясных глазенках копилось недоумение, страх и совсем взрослая горечь, я видел это ясно и четко. У меня сжалось сердце.

— Ну, хорошо, Тонь... Сколько тебе надо на парикмахерскую? Час? Полтора?

— Ты думаешь, мне хочется в парикмахерскую? После всего этого...

— Ну ладно, — я взял Ляльку на руки.

Жена сидела у зеркала, готовясь, видимо, заплакать, что бывало с ней очень редко. Она умела заставлять себя плакать в определенное время, так же как и прекращать это. Я давно заметил: она плачет только от злости или от ущемленного самолюбия. Другие эмоции у нее появляются теперь все реже и реже. Я знал, что она всерьез воспитывает в себе твердость и еще что-то, по ее мнению, необходимое женщине в наше время.

Мне стало снова смешно, я хотел что-то сострить по этому поводу, но Сашка уже сигналил во дворе. Я взял рюкзак с продуктами и свернутую палатку:

— Идем, Тонь!

Она не ответила, но позвала с кухни мою тещу, что было равносильно ее согласию ехать.

Я помахал Ляльке, схватил рюкзак и сбежал во двор. Голубевский «газик», сотрясаясь помятым капотом, пофыркивал у подъезда.

— Саш, а Саш? — я устроился сзади, где лежал чехол с «Бюхардом». — Что такое прогресс, ты знаешь?

— Знаю. — Сашка посигналил шоферу, который убежал за сигаретами. — Твоя жена едет?

— Да.

— А моя нет. Чем не прогресс? И вообще, прогресс — это когда женщины становятся все мужественнее.

— А мужчины женственнее?

Сашка ничего не ответил. Мы сидели минут двадцать, пока Тоня, переодетая в брюки,

решительно не открыла дверцу. И мы двинулись на так называемую природу.

* * *

После трех часов езды мы съехали с асфальта и остановились. Сашка отпустил машину. Уже темнело, но мы еще километра два волокли свои рюкзаки по лесу. Наконец Голубев остановился.

— Здесь. — Он сбросил ношу с плеч. — Зорин идет рубить колья, Тоня разжигает костер.

Я осмотрелся. Красноватая не очень яркая луна безмолвно висела над широкой поймой реки. Справа от нас темной полосой спадала к реке гряда елового леса. Слева с высокого холма, на склоне которого мы сбросили рюкзаки, виднелось отлогое поле. Река едва ощущалась внизу в полусумраке. За нашей спиной в кустах проснулись и недовольно завозились дрозды. Лес и холмы под осенней луной были бесподобны, но по-настоящему я проникаюсь природой только на родине своего детства. (Я сделал это открытие намного позже.) Голубев рубил колья. Я посмотрел на Тоню: ее лицо показалось мне жестким и чуждым.

— Тонь, ты сможешь разжечь? — я подал ей спички, наломал ольхового сушняку и содрал со старой березы сухую берестинку. — Это как наши с тобой ссоры. Начинается всегда с маленького. Главное, зажечь спичку, а береста вспыхнет. Потом нужно лишь увеличить диаметр сухих веточек.

— Да?

«Черт бы побрал это ее «да!» Откуда оно

взялось? Не зная, что говорить, она научилась этому «да», и я всегда злюсь, потому что на все можно подумать, предположить все, что угодно, услышь это дурацкое «да»?

—...сухая береста горит даже под дождем, ты же в деревне росла.

— Возьми и зажги сам!

«Не надо было говорить о деревне, она терпеть не может даже этого слова: «деревня». Она почему-то стесняется своего деревенского детства, все прошлое кажется ей отсталым и некультурным, у нее комплекс. Черт возьми, разве ты раньше не знал, что у нее комплекс и что ей вечно хочется выглядеть самой культурной, самой современной и модной! А что это, собственно, такое: культура, мода и современность?» Береста вспыхивает, и я кладу на нее конусом самые тонкие, самые сухие веточки. Когда они занимаются огнем, береста еще продолжает гореть. Я не спеша увеличиваю толщину своих дровец, они разгораются все уверенней, все жарче, и вот костерик уже начинает потрескивать. Теперь я пускаю в ход уже настоящие дрова.

Я взглянул на жену: она сидела на камне. Глаза ее грустно блеснули в свете костра. Я сел рядом, обнял ее за плечи и вдруг почувствовал, что она, как давно в молодости, легонько прижалась ко мне. Я сжал ее плечи. Она застегнула мой ворот:

— Костя... Ты не простудишься?

Я поцеловал ее холодное ухо. Ах черт возьми! Все точь-в-точь как с этим костром или с нашими ссорами! Крохотная, едва уловимая нежность отзовется в тебе вдесятеро, а там шире, дале, и вот уже как и не бывало диких

скандалов, хлопанья дверью и ночлегов на раскладушке. Костер трещал и хлопал своим пламенем, словно флаг на ветру, хотя ветра не было. Луна скатывалась на горизонте. Мы натянули палатки, настлали втолстую веток и сена, которого притащили от колхозного стога. Голубев сложил поклажу в свою палатку, положил в карман два бутерброда и взял ружье. Я спросил, куда он собрался. Сашка сказал, что пойдет на озеро, чтобы не прозевать утиную зорю, и что вернется не раньше завтрашнего полудня.

— А это... самое. Не возьмешь? — я похлопал по рюкзаку.

— Там будет все. Суббота такой день, что на озере есть все. Выпейте без меня.

И Сашка исчез вместе со своим великолепным «Бюхардом».

Мы остались одни, лишь костер горел и трещал. Он то с шумом вскидывался, раздвигая ночную тьму, то, поддаваясь ей, сжимался и замирал. Наконец и он тихо сдался. Одни угли мерцали у нашей палатки. Но и те затухали. Кругом была ночь и тишина.

— Тонь...

Она долго не отзывалась. Но я-то знал, что она не спит и что она снова любит меня. Я бросил нераспечатанную бутылку в траву, вытащил из рюкзака термос с чаем и забрался к ней в палатку.

* * *

Рано утром я пробудился от необычайной тишины и какого-то тоже необычного праздничного ощущения.

«Она красива, моя Тонька... А я забыл,

что ей надо изредка говорить об этом. Я же идиот, я всегда считал, что достаточно сказать об этом один раз. Один? Им надо твердить об этом каждый месяц. Или хотя бы ежегодно. Это так же необходимо, как обязательная ежегодная рентгеноскопия... Стоп!» Почуяв, как вновь копится вчерашняя злость, я стал нарочно вспоминать то, что было у нас ночью.

Комар, проникший в палатку, приготовился сесть на лицо моей спящей жены, я бесшумно сцапал его и посмотрел на часы: было четверть шестого. Рассвет и осенняя свежесть перемещались за палаточной парусиной. Я долго разглядывал лицо Тони. Две неодинаковые вертикальные складки на ее лбу между бровями не исчезали даже во сне. Я почувствовал волнение и нежность, а она, видимо стараясь проснуться, вдруг улыбнулась, улыбнулась одной, правой половиной рта. Я подождал, пока сон ее вновь не окрепнет, затем расстегнул молнию своего спального мешка и, планируя каждое движение, тихо выбрался сначала из этого футляра, потом из палатки. Необжитый голубевский шатер, покрытый росой, стоял метрах в десяти от нашего, он показался мне жалким и неприкаянным.

Солнце уже сбиралось подняться над широким лесным простором. Я взял новый, еще не обожженный котел, купленный Сашкой в спортивном магазине. Сейчас внизу, прямо в холодной белой речке, думал я, сполосну котел и зачерпну воды. Впервые за все лето на душе было легко и спокойно. Я был снова счастлив. Снова самому, а не по необходимости, мне хотелось строить эти самые мосты, дома и трубопроводы. Опять, как и раньше,

где-то чуть ли не в животе копилось радостное нетерпение. Я чувствовал собственную готовность придумывать новые строительные решения, которые сокращают денежные расходы, ускоряют выполнение плана и тэ дэ и тэ пэ.

Спускаясь к реке, я всей своей спиной ощущал нашу палатку, где так спокойно, так глубоко спала моя жена. Здесь в тумане угадывалась река. Туман быстро исчезал, словно от одного моего взгляда. Вершины берез и осин на высоком противоположном берегу осветились неожиданно ярким и ровным светом. Я замер от собственного, но, как мне казалось, окружающего меня восторга. Солнце всходило. Сколько лет я не видел его восхода? Да, я счастлив: впереди целый день и еще день в этой тишине, вдвоем с Тоней, с шелестом первого несмелого листопада, с прозрачностью этого воздуха, с этой грибной, лиственной и речной свежестью. И вдруг я вздрогнул, словно ошпаренный.

— Доброе утро! У вас не найдется спичек?

Сонная девица в широких расклешенных зеленых штанах, в замшевой, наверняка импортной куртке или кофте — черт их разберет! — стояла в кустах совсем близко. Она бесстыже разглядывала меня. Проходя мимо нее, я остановился и зажег ей спичку. Обнажив несвежий лифчик, она наклонилась, чтоб прикурить. Я отдал ей спички.

— Спасибо! — она улыбнулась.

— Не на чем.

Двигая плотно обтянутым задом, она пошла, не оглядываясь. Только сейчас я заметил чужую палатку. Она стояла за кустами на склоне, большая, кажется, трехместная,

и вымпел с каким-то нелепым драконом, намалеванным красным по черному, висел рядом с ней на шесте...

Очарование солнечного осеннего утра и мое счастливое состояние сразу исчезли. Мне захотелось домой, в город. «Какой смысл! — Я вновь был прежним. — Теперь наверняка придется знакомиться. В палатке явно двое или трое еще. Откуда только они взялись, черт бы их побрал! Что значит откуда? Оттуда же, откуда и ты...» Я равнодушно зачерпнул воды, нехотя умылся, равнодушно поднялся на горку к нашему биваку.

Тоня спала. Я лихорадочно соображал, что делать. Сашка не появится раньше полудня. Самое простое и верное — это сняться с места и уйти на другое, но это была бы длинная песня. Я бы провозился с палатками часа три, не менее. Да и где бы нас стал искать Голубев? Все равно, я не хочу. Мне было смешно и досадно. Вспомнился чей-то рассказ или газетное сообщение о миграции сибирского соболя. Оказывается, для одной пары соболей необходим минимум таежной площади. Какое-то определенное число квадратных кэ мэ. Иначе соболь просто не может существовать. Оказывается, если в его владениях появятся новые особи, он либо уходит на свободную территорию, либо погибает.

Я представил картину: подобно соболю, я тащу свою жену через заросли, затем возвращаюсь, волоку пожитки, и редкие осенние птицы смолкают на моем бесславном пути. Ничего себе было бы зрелище! Лучше всего сложить рюкзаки, оставить Сашке записку и податься к автобусу. Тут и всего-то кило-

метра четыре. Но как отнесется к этому мама Тоня? Другая картина представилась мне не менее четко. Вначале жена удивленно вскинет свои роскошные брови, затем активно запротестует. Ей непонятно, почему вдруг понадобилось уезжать, она тут же обвинит меня в эгоизме, в нежелании с ней считаться.

— Зорин, ты здесь? — послышалось из палатки.

Она всегда называла меня Костей, но с некоторых пор начала звать по фамилии. Это всегда было признаком ее хорошего настроения. Я же сегодня не мог похвалиться хорошим настроением...

Надо было сматываться, я чувствовал, знал, что теперь уже ничего путного не получится. Я заранее представил всю эту пошловатую процедуру знакомства, общения и вечернего винопития. Но тут я разозлился взаправду, уже сам на себя: «К черту! Что за проблема? Из-за чего, собственно? Начихать нам на этих туристов, мы тоже приехали отдыхать».

Однако то, что произошло дальше, было так нелепо, так глупо, что мне не хочется вспоминать. Впрочем, я ни о чем не жалею...

* * *

Девица в зеленых штанах явилась к нам ровно через сорок минут. Она попросила соли, сказала затем, что зовут ее Алкой. Осмотрела наши палатки, мимоходом выведала, как зовут меня и мою жену, затем сообщила, что под утро она дико замерзла и что Вадька и Барс все еще спят без задних ног. Я молча навесил на треногу котел с водой.

— Костя, хотите, я принесу кофе? У нас растворимый, бразильский.

— Нет. Не хочу.

Хорошо, что еще не на «ты», подумалось мне. Я поправил огонь.

— Почему? — искренне удивилась она. Я чувствовал, что моя Тоня уже сдвигала брови, негодуя на мою невоспитанность. Я посмотрел и увидел это определенно и четко, — да, моя жена сдвинула брови. Девица же вдруг захлопала в ладоши и звонко на весь лес заявила:

— Тогда идем к нам!

Но загорелый, одичалого вида верзила в одних плавках и кедах, с полотенцем на боксерских плечах, уже выходил из кустов и двигался в нашу сторону. «Тэкс... — я почему-то надел свою кепку, закурил. — Тэкс. Все это даже забавно. Вадька или этот... как его, Барс?» Я мельком взглянул на Тоню: в ее глазах медленно разгорались угольки любопытства. Потом она вдруг сделала суетливое движение: здесь, на природе, ей явно недоставало нашего трельяжа. «Если б она вот так же волновалась и перед моими появлениями», — рассеянно мелькнуло в моей голове, но я не успел четко осмыслить все это, надо было снова знакомиться...

Он присел у костра, заслонив своим торсом чуть не четвертую часть горизонта, потирая колени, покашливая:

— Алка, ты чего мешаешь людям!

Меня удивил контраст: нежный, почти мальчишеский голос никак не вязался с мощной спортивной фигурой.

— Заглохни, — сказала Алка и закашля-

ла, поперхнувшись дымом от сигареты. Ее громкий кашель, и зеленые брюки, и мужская поза тоже совершенно не соответствовали полудетскому, со следами вчерашней косметики, круглому помятому личику.

Тоня глядела на них в оба глаза, пока не вспомнила, что еще не умывалась, и мне ничего не оставалось делать, как тоже включиться в очередную игру, смысл которой никогда, наверное, не дойдет до меня.

Почему же люди не хотят быть самими собою? Почему им вечно хочется выглядеть иначе, чем они есть на самом деле?

Пока Тоня ходила к реке, к нам присоединился второй Алкин спутник: это был вертлявый и какой-то суетливо-нахальный парень, его звали Борисом, фамилия Арсентьевский. Немного требовалось ума, чтобы догадаться, Алка называла его Барсом, но она заставила-таки выслушать ее объяснение.

Пока шло шумное утреннее чаепитие, пока разыгрывалась нелепая, занявшая полдня рыболовная сцена, мне пришлось быть невольным арбитром в соревновании по остроумию между Вадимом и Барсом. Было ясно, что выдрючивались они не столько передо мной или Алкой, сколько перед Тоней. Моя жена преображалась прямо на глазах...

Сашка пришел под вечер, когда мы уже перекочевали к соседям. Он посмотрел на дюжину наших жалких плотвичек, высыпал из рюкзака груду крупных окуней и лещей. Две уточки из породы чернядь и одна кряковая дополняли его рыбацкий трофей. Никто не хотел ощипывать и потрошить дичь, один Джек с готовностью тыкался своей мордой, выявляя

нетерпение и желание помочь каждому из нас. Начались грандиозные приготовления к ухе. Тоня, Алка и Барс пошли к реке и весело принялись за картошку, а Вадим взял в руки Сашкину двустволку:

— «Бюхард?» Где вы его достали?

Сашка был явно польщен. Вадим вытащил из палатки и показал ему свою двустволку, тотчас же начался тот специфический разговор, который обосабливает собеседников, делая их своего рода заговорщиками. Опять игра... Я нехотя включился и в эту игру, но притворился, что ничего не понимаю в ружьях. Вадим с увлечением и азартно начал объяснять мне, что такое чок и что такое нечок, чем отличается правый ствол от левого, далеко ли и с какой силой летит пуля, если выстрелить из нечокового ствола. Голубев был пьян и не заметил моего подвоха. Он-то прекрасно знал, что все это было давно мне известно, что в детстве и юности я тоже бывал охотником. Правда, уток и рябчиков я уничтожал тогда вовсе не из спортивного интереса...

— Мальчишки, а кто пойдет за дровами?— послышался Алкин голос.

Я взял топор, перерубил пополам сухую длинную ель, оставшуюся от лесосплава. Отнес половинки к костру и положил на огонь. Получилась своеобразная нодья[1]. Она могла теперь гореть до глубокой ночи, нужно было лишь надвигать чурки на костер.

— Как ты думаешь, с которым из них она

---

[1] Нодья — костер из двух сухих, положенных один на другой стволов.

спит?— спросил Сашка, когда я вернулся к нему.

— Кто?— Я был взбешен.

— Извини, старик... Ну, что ты заводишься?

— Если ты имеешь в виду Алку, то у нее, по-моему, двусменка.— Во мне все кипело от злости.

— А может, по скользящему графику?— не унимался этот идиот.

Я отвернулся. Тоня хлопотала вокруг ухи и этой самой Алки, обе женщины весело о чем-то болтали, они, видимо, хорошо понимали друг друга. «Неужели он ничего не чувствует?— думал я про Сашку.— Если он не уймется, я дам ему затрещину... Прямо по физиономии, да, да... Мерзавец! Ему и дела нет, что там, у костра, есть еще и моя жена, что эта болтовня отвратительна для меня». Но Голубев был бы не Голубев без таких разговоров, да и я вдруг понял, что злюсь вовсе не на него. Меня оскорбляла фамильярность и близость моей жены с этой беспутной девчонкой, ночующей в одной палатке с двумя отнюдь не бесплотными существами. Я превосходно знаю тип этих послевоенных девчонок. Многие из них воспитаны так, что они не знают, что хорошо, а что плохо, не представляют, куда и как ступят в следующую минуту. Обычно романтичные и мечтательные до сентиментальности, они ни к чему путному не приучены, от них можно ждать все, что угодно. Мораль для таких дурочек либо не существует совсем, либо понятие старомодное. Такое существо живет совершенно свободно и поэтому почти всегда безответствен-

но. Что с ними делать? Я не знаю и не хочу знать, не хочу,— но мало ли чего не хочется! Когда она приходит к нам в трест после неудачного поступления в институт, мне жаль ее, и я стараюсь хоть как-то помочь ей встать на ноги, приобрести собственное лицо и элементарные понятия о том, что плохо, что хорошо. Но она обычно не задерживается на моей стройке, ее влечет романтика зауральских просторов, ветер далеких странствий. Я ничего не имею против таких странствий, но мне хочется реветь, когда вижу, как такая дурочка, нарезавшись коньяку, идет в гостиницу и какая-нибудь пыжиковая шапка, ухмыляясь, пропускает ее в свой одноместный номер. И Сашка Голубев прекрасно знает мое отношение ко всем этим штучкам-дрючкам. Наконец-то до него что-то дошло:

— Извини, старик, ну, извини... Но не будь все-таки пижоном. Разве ты отказался бы переночевать с ней в одной палатке? Разумеется, без соседства.

— Да, отказался бы.

— Почему?

— Потому, черт возьми, что люблю бриться своей бритвой! Понимаешь? Своей! И пошел ты от меня знаешь куда...

Сашка сделал лапочками,— дескать, пардон, все понял. Я с отвращением почувствовал, что еще минуту — и я бы перешел на крик.

Нас уже звали есть уху.

Боже мой, я еще утром был по горло сыт всем этим, а тут впереди еще и уха, и вечер, и этот безбрежный треп. Сашка вернулся с озера навеселе, ему все равно, но я-то весь день был не в своей тарелке, весь день сдер-

живал раздражение. И вот, когда все по-турецки расселись под дурацким вымпелом, на котором был намалеван дракон, я даже с каким-то облегчением взял колпачок от термоса, наполненный на три четверти каким-то заграничным питьем. И выпил, не дожидаясь конца тоста, произносимого Алкой — этим оператором одного из ведущих в стране НИИ...

Судя по тому, как Вадим и Алка подзуживали и ставили ему безобидные шпильки, Барс был старшим по работе. Но, как выяснилось, Вадим тоже готовился стать кандидатом. Я спросил его, правда ли, что в одной лишь Москве более двухсот тысяч научных работников, кандидатов, докторов и академиков? По-видимому, глотая пилюлю, он просто не захотел пикироваться. Или же считал эту цифру вполне нормальной.

Моя жена по очереди глядела на обоих физиков... Что ж, в этом ничего нет удивительного, подумалось мне. Она действительно впервые видит живых физиков. Но зачем же глядеть им прямехонько в рот? Зачем делать вид, что понимаешь, что такое гравитация и теория относительности? Ведь даже мне с моим техническим вузом очень смутно представляется все это.

— Видите ли!..— Вадим был терпеливым и снисходительным.— Самое лучшее — это наглядный пример...

Он достал из рюкзака блокнот, вырвал чистый лист, согнул вдоль, оторвал ровную длинную полоску бумаги и склеил ее концы хлебным мякишем. Полученное кольцо он представил на обозрение моей жене.

— У него две стороны, наружная и внутренняя, так?

— Да,— Тоня старательно хмурила свои роскошные брови.

— Может ли проползти букашка сначала по одной, после по другой стороне, но не пересекая край кольца?

— Нет. Как же?

— А теперь?— Он разорвал кольцо и вновь старательно склеил концы ленточки, но уже разными сторонами.— Можете мне сказать, где здесь внешняя сторона и где внутренняя?

Я видел, как моя Тоня в восторге водила авторучкой по склеенной ленточке. Но я знал, что если б этот же злополучный фокус показывал ей я, она бы даже не стала меня слушать...

Вадим из вежливости перевел разговор на другую, близкую Тоне тему. Речь пошла о книгах вообще, затем о детективах и научной фантастике. Барс то и дело вставлял в разговор двусмысленные похабные шуточки, Алка била его кулачком по спине. Тоня добросовестно старалась понять, отчего Алка смеется. Не замечая пошлости, она всеми силами старалась поддержать этот, как ей казалось, утонченный разговор. Меня же все это начинало бесить взаправду. Когда с ухой было покончено и новая волна остроумия смыла все сдерживающие преграды, я потихоньку встал и отошел от костра.

Луна висела над противоположным лесистым берегом, большая и желтая. Явственно виднелись очертания лунных морей, рассеянный призрачный свет исходил от нее, как бы

не достигая земли. Кусты и скошенные луга были темны на том и другом берегу. Везде было тихо, таинственно и печально, ночная осенняя земля словно прислушивалась к чему-то. Окрестная тишина терпеливо превозмогала нелепые всплески хохота, которые то и дело раздавались над нашим берегом.

Когда я вернулся в компанию, там, видимо, иссякли все анекдоты. Алка висела на плече у Барса, мешая ему крутить транзистор. Она по-кошачьи терлась об своего шефа, мурлыкала что-то на ухо, а он то фыркал и ржал, обнимая ее, то вдруг замирал и настороженно прислушивался. Сашка уже собирал бутылки, намереваясь палить по ним влет, Вадим продолжал разговор с Тоней. Моя жена была сегодня просто неузнаваема:

— А что вы о Джойсе скажете?

— Ну, Джойс, по сравнению с Кафкой, мальчишка,— Вадим достал из кармашка джинсов пачку «Кента».— А вы читали что-нибудь Джойса?

Сейчас вопрос был адресован мне. Я сказал, что ни Джойса, ни Кафку не читал, что у меня не было для этого ни желания, ни времени.

— Джойса и Кафки тоже не было,— очень к месту добавила Тоня.

Но я поторопился мысленно похвалить жену. В ее голосе прозвучали отдаленные, оскорбляющие меня нотки уничижения. Она как бы просила собеседника извинений за мою неосведомленность. Ей даже не приходило в голову, что я не испытывал никаких сожалений по поводу того, что я не читал Джойса. То есть я пытался как-то читать это-

го самого Джойса. Несколько лет тому назад она «на два дня» приносила его домой. Джойс показался мне таким занудой, что я с трудом прочитал страниц двадцать и на другой день с облегчением забыл о нем. И вот теперь Тоня словно бы извинялась перед этими пижонами за мою интеллектуальную неполноценность...

Меня вновь разбирала обида на жену и злость на самого себя за то, что позволяю себе злиться и обижаться.

— Конечно, в магазинах нет ни Джойса, ни Кафки. Их не достанешь.— Я неожиданно для себя обернулся к Тоне.— А Пушкин есть? Лермонтов есть?

Она удивилась вначале, затем обиженно отвернулась и не ответила. Она всегда спешит поскорее обидеться, чтобы не отвечать на вопрос или не продолжать неприятный для нее разговор. Я чувствовал, что завожусь, но не мог остановиться. Я знал, что был здесь одинок. Сашка меня не мог поддержать, ему хотелось стрелять по бутылкам, а жена, как и всегда, почему-то считала своим долгом не поддерживать, а бороться со мной.

— При чем здесь Пушкин?— произнес Вадим, а Тоня торжествующе хмыкнула.

— Вот именно, при чем.— Меня понесло.— Важно что в магазинах нет Кафки и Джойса. А то, что нет Лермонтова и Пушкина, на это начхать! Подумаешь, велика беда.

— В библиотеке Пушкина тоже нет?— спросил Вадим и, поправляя в костре головешку, как бы случайно взглянул на Тоню.

Она уловила его взгляд, я почувствовал это. Она еле заметно пошевелила одним пле-

чом, она как бы выражала извинения за неотесанность своего мужа.

Кровь бросилась мне в голову.

Я был раздавлен одним этим презрительным движением плеча. Я хотел верить в свою ошибку, ждал ее голоса, но я не ошибся. Все было так, как есть. Она не проронила ни слова. Обида и горечь сжимали мне горло, пальцы мелко дрожали. Я удивился тому, что мой голос прозвучал спокойно и даже буднично:

— В библиотеках много кое-чего есть. А вы попробуйте подписаться на Пушкина. Или хотя бы купить двухтомник.

Барс, который, видимо, как Цезарь, мог одновременно писать, читать и разговаривать, вдруг отстранил Алку и обратился ко мне:

— Знаете что?

— Что?

— Не будем.— Глаза его блеснули в темноте и впрямь как у барса.— Не надо, понимаете?

— Что не надо?

— Это самое... Хватит.

— Что хватит?— вне себя заорал я и вскочил.— Что?

Он словно бы только и ждал моего крика. Он сокрушенно развел руками, кротко улыбнулся, затем отвернулся и с демонстративным спокойствием заговорил с Алкой. Я посмотрел на всех по очереди. Сашка пьяно хмыкнул, подал мне бутылку пустую и, заикаясь от алкогольной отрыжки, сказал:

— С-с-старик, метни, а? Только в воздух.

Я взял бутылку и сильно швырнул ее вверх. Сашка вскинул ружье, раздался выстрел. Бутылка упала в траву целехонька.

Алка заверещала от восторга и запросила «бабахнуть», все оживились. Я затаил обиду куда-то далеко-далеко и попросил закурить. Вадим, подавая «Кент», посмотрел на меня, как мне показалось, с дружелюбным сочувствием. Он взял из палатки свою двустволку и предложил стрелять как можно дальше и пулями по недвижимой цели. Голубев пошел устанавливать мишень. Но в сумерках уже за двести шагов бутылка была невидна. Сашка подошел ближе, надел ее горлышком на ольховый сучок и вернулся к костру. Бутылка слабо мерцала от лунного света. Тут же решено было устроить соревнования по стрельбе.

— Куда вам столько жаканов?—удивился Голубев, когда Вадим принес свой патронташ.

— Мечтали сходить на медведя. Барс, ты будешь стрелять?

Барс кивнул.

— Тоня, а вы?

Моя жена выразила желание стрелять. Ночью, по недвижимой цели, из двустволки «Бюхард» пулей шестнадцатого калибра. Я улыбнулся: чего не сделаешь ради гостей!

Решили тянуть жребий, чтобы установить очередность стрельбы, а Барс громогласно объявил, что для победителя у него в рюкзаке найдется неплохой приз. Он выдрал из записной книжечки шесть листочков, написал на них номера, скатал их в трубочки, бросил в берет и поднес мне:

— Тяните!

Я сказал ему, что колхозники, когда делят покос, тянут еще и второй жребий: кому «тянуть» первому.

— Да? — Это «да» было точь-в-точь как у моей жены.— Но ведь так можно тянуть и третий жребий, кому тянуть второй. И так можно без конца тянуть жребий.

— Конечно. По-моему, все мы только и делаем, что тянем жребий, кому первому тянуть предыдущий.

— Это интересная мысль,— заявил Барс.— Что ж, сделаем еще шесть номеров...

Я взял из берета бумажку и развернул: на ней красовалась жирная единица. Сашка зарядил и подал мне двустволку, я выстрелил и промазал. Мне не хотелось смотреть, как моя жена целится из ружья. Было почему-то и смешно, и горько, я вспомнил гоголевскую тетушку Ивана Федоровича Шпоньки. Ту самую тетушку, которая любила палить по уткам... Выстрелы, гремевшие один за другим, наконец смолкли. Барс торжественно вручил бутылку шотландского виски Сашке Голубеву, который, несмотря ни на что, оказался лучшим стрелком.

Костер запылал с новой силой.

— А сколько осталось патронов? — спросил Сашка после дегустации.

— Шесть штук,— ответил Вадим.— Медведю еще вполне хватит.

— Шесть? — Алка прервала разговор с Тоней.— Нас тоже шесть.

— Хочешь сказать, что можно сыграть в рулетку? — Вадим сходил в палатку и натянул свитер.

— А что такое рулетка?

— Это, Аллочка, такая офицерская игра.

— Ой! — Алка захлопала в ладоши.— Сыграем, Вадик, а? Ну, пожалуйста!

— Что ж... Я не прочь. Только в этой игре женщины не допускаются. И вообще, в ней могут участвовать только царские офицеры.

— Почему?— Теперь уже моя жена заинтересовалась рулеткой.— Как она проходит, эта игра?

— В барабане браунинга семь патронов. Он крутится, как и любой барабан. Так вот, где-нибудь после пирушки остаются семь человек. Выбрасывают из барабана патроны... Но не все семь, а шесть. И пускают браунинг по кругу...

Обе они глядели на него, как зачарованные. Я впервые наблюдал такое откровенное проявление женского любопытства.

— И что дальше?— не поняла Алка.

— Ну, что,— Вадим отхлебнул из стакана.— Каждый по очереди приставляет дуло к виску и спускает курок. Кто-то из семи должен погибнуть.

— Ужас!— Алка передернула плечиками.

— Не все ли равно, где погибнуть,— сказал Барс,— сейчас, скажем, на вечеринке или завтра в атаке?

— Мальчики, а вот вы бы сыграли в рулетку?— Алка даже заподпрыгивала, сидя перед огнем на корточках.— Вот вы сейчас? Вот сейчас, сейчас?

Она обвела мужчин восторженным полусумасшедшим взглядом.

— Что ж...— Вадим прищурился и в упор посмотрел на меня.— Я бы, пожалуй, сыграл...

— А как, как, мальчики? У вас же нет ни барабана, ни браунинга!

— Очень просто,— Вадим взял берет

с шестью заряженными патронами — Барс! А ну разряди патроны!

— Как?

— Ну, так. Вытащи жаканы, а порох высыпь. У всех, кроме одного.

— Во-первых, Вадимчик, я не офицер... Во-вторых, не русский и тем более не царский. Я самый обыкновенный кандидат физико-математических наук с уклоном на кибернетику...

— Не хочешь помочь? — Вадим спокойно взял патроны. — Ну, что ж, я могу и сам.

Он достал из кармана складной комбинированный нож, шилом выковырял пулю и войлочный пыж. Затем выплеснул порох из гильзы в костер, вставил пулю в пыж обратно.

Короткие нешумные вспышки пять раз ярко освещали взволнованное личико Алки. Я посмотрел на Тоню: лицо ее было в тени. Сашка с ехидным видом крутил транзистор.

— Пожалуйста! — Вадим посмотрел на меня. — Это шестой патрон. Я не разряжаю его. На вид он такой же, как все остальные. Но тяжелее на два грамма. Сможете вы отличить на ощупь разницу в два грамма?

— Нет.

— Я тоже не отношусь к таким феноменам. — Он бросил патрон в берет, где лежали остальные. — Алка, тряси!

Алка несмело потрясла берет, патроны звякнули. Все молчали.

— Сделаем себе скидку, мы и впрямь не деникинцы, — продолжал Вадим. — Женщины не допускаются к игре. Но остаются в игре их выстрелы. От этого вероятность сыграть в ящик значительно уменьшается. Итак?

Итак, что это? Реванш за двести пятьдесят тысяч? Я все еще не мог усечь, в шутку или всерьез говорил он все это! Его глаза, как мне показалось, блеснули насмешливо. Он взял Сашкин «Бюхард» и дунул в левый чоковый ствол.

— Бросьте, мальчики...— Алка положила подбородок на собственные колени,— вы же... Вы трусы! Вы же не мужчины. Вы? Да вы никогда, никогда не сможете!

Она вдруг истерически начала хохотать:

— Вы? Вы... и в рулетку?.. Боже мой, вы...

— Стоп, Алка!— Вадим встал.— Стоп...

— И ты можешь? Сыграть? Ты?— Она продолжала хохотать, катаясь на траве у палатки.

— Я не могу играть один! Понятно?— Он схватил ее за шиворот.— Для игры нужно иметь партнеров!

Напрягая скулы, он медленно обвел нас взглядом и... потянулся к берету. Я почувствовал, как легкий холодок рождается во мне где-то около солнечного сплетения.

— Пожалуйста!— Вадим протянул берет Барсу.

— Я — пас.— Борис Арсентьевич отвернулся и засвистел мелодию из «Кармен».

— А вы?— Вадим обратился теперь к Голубеву.

— Я еще не достроил канализационный коллектор,— сказал Сашка.— К тому же играю только в шахматы.

— Ну... а вы?— берет с торчащей вниз шишечкой качнулся и замер на уровне моих глаз.

Не поворачиваясь, я оглядел всех, кого можно было видеть.

Вадим смотрел на меня с высоты своего роста, Алка перестала смеяться. Барс, сдерживая улыбку, кусал губу, а Тоня, сидя на чурке и сцепив на коленях руки, не двигаясь, смотрела в огонь. Я молчал.

На какое-то время глаза ее изменились во мгле. Или это просто почудилось мне? Я медленно отвел берет с патронами в сторону от себя.

Вадим бросил берет в рюкзак и резко задернул шнурок. Потом повесил рюкзак на березу, сел, взял бутылку с виски и побулькал около своего уха:

— Выпьем? За современных мужчин...

Я посмотрел на Тоню. Опять, как и только что, мне почуялись странные изменения в ее глазах: то ли они сузились, то ли загорелись каким-то грустным, полным горечи и обиды огнем. Она посмотрела на часы, буднично вздохнула и встала:

— Уже первый час. Спокойной ночи.

— Тоня!—Я не узнал своего голоса. Но она даже не оглянулась...

Когда по кругу пошла бутылка с виски, я, не прощаясь, ушел к реке. Джек побежал со мной. Странное состояние владело сейчас мной: я как бы разглядывал себя со стороны, подсмеивался, жалел, издевался и предостерегал, разбирая себя по косточкам.

Что же произошло?

Вадим искренне предложил сыграть в эту дикую и нелепую игру, вернее, его спровоцировала эта восторженная дурочка. Я видел, как он вскочил, когда она начала хохотать,

слышал, как взволнованно задрожал его голос: «Я не могу играть один! Для этого нужны партнеры». А может, он был просто уверен в том, что все равно никто из нас не будет играть? Может быть, он и тут тоже играл, рассчитывая на нашу трусость? Допустим, Барса-то он знал до этого и мог вполне рассчитывать на то, что тот наверняка откажется. А дальше? Неужели он такой точный психолог, что сразу раскусил, что за человек Сашка? Я медленно подбирался к себе. Почему я отказался играть? Ведь я не был трусом, По крайней мере, я не считал себя трусом. Я хорошо помнил, что отказался играть совершенно спокойно, будучи уверенным в том, что в других обстоятельствах я никогда бы не отказался.

В каких же это других? Может, это и есть как раз трусость, когда откладываешь проявление своего мужества до других, более подходящих для этого моментов? Скорее всего, так и есть. Значит, я самый обычный трус? И моя жена была права, когда с презрением, даже не оглянувшись, ушла от костра!

Я почувствовал, как вдруг вспыхнуло мое, охваченное жаром стыда, лицо. Шея и кисти рук тоже были словно ошпаренные. Я спустился к песчаному берегу, присел на корточки. Вода показалась мне по-летнему теплой. Туман уже нарождался над нею. Я ополоснул лицо и неожиданно почувствовал себя совершенно бодрым. Мысли мои стали ясны и определенны. Какая-то решимость, помимо меня, без ведома моего рассудка, заполняла меня. В груди и в животе, опять где-то около солнечного сплетения, вновь заныл жуткова-

тый холодок, тот самый холодок, который испытываешь во время опасности. Я понял сейчас, что сделаю то, что решил, что я просто не буду уважать себя, если не сделаю. Нет, мне не придется до конца своих дней презирать себя, черта же с два! Я не трус и не боюсь даже сам себя, не только кого-либо или чего-либо.

Но если это действительно так, то для чего же проверять все это на практике?..

Я свистнул Джека. Он выбежал из кустов. Отряхнулся, обдавая меня свежестью и запахом псины. Ткнулся мне в ладонь своим холодным носом и снова исчез. Я сел на камень.

Было уже четыре часа, ночь кончалась. Костер у палатки потух, все, видимо, давно спали. Я бесшумно поднялся к потухшему костру. Все спали, и рюкзак Вадима висел на березе. Я оглянулся, постоял с минуту, так же бесшумно взял рюкзак, развязал шнурок и тихо, осторожно вытащил берет с патронами.

Луна давно переместилась далеко в сторону и исчезла. Светало. Я издевался над глупостью задуманного, но все так же уверенно продолжал воплощать эту глупость: осторожно отошел за кусты, прислушался. Все было тихо. Но где же двустволка? Ее не было. Сашка, видимо, убрал ее в палатку. Я снова быстро поднялся к палаткам. Услышав отрешенный голубевский храп, тихонько вытащил из палатки «Бюхард» и снова замер.

— Тонь,— громким шепотом, вовсе не ожидая этого от себя, позвал я.— А Тоня?

Сердце забилось часто и невпопад. Я ждал, но жена не отозвалась. Она либо спокойно спала, либо не захотела отозваться, и я поч-

ти бегом, но бесшумно, бросился снова к реке, в глухой и зябкий речной туман. Джек вновь выскочил из кустов. Виляя хвостом и, как мне показалось, удивленно он уставился на меня.

— Тише, Джек! Слышишь? Пошел вон! Слышишь, пошел!

Он не уходил. Я положил двустволку на траву, сел на камень и опустил руку в берет. Холодное прикосновение металла бросило меня в озноб. Патронов было точно шесть. Я ощупью изучил каждый, каждый был заряжен свинцом. Но в котором из них порох? Всего два грамма этого сухого серого порошка могут разнести череп и выпустить кровь из моего дурацкого тела. Один миг — и я исчезну, меня не будет. Не будет... Но куда же я денусь? Омерзение, брезгливость и страх поднимались из моих ног, медленно охватывали все тело. Я весь содрогнулся и с отвращением отбросил берет. Патроны глухо брякнули. Один из них выкатился в траву. «Это мой патрон,— мелькнуло во мне.— Он, этот патрон мой... Но ты-то трус! Трус, вот в чем дело. И больше не рыпайся. Не ерепенься. Заткнись и помалкивай. Эта игра не для тебя, ты дерьмо. Тонька права. Права? Неужели она права?»

Уже совсем рассвело. Я вспомнил свою жизнь, — годы, месяцы, недели и дни пронеслись сейчас передо мной, пронеслись хаотично, стремительно. Память выхватывала из прошлого почему-то совсем незначительные детали и случаи, оставляя во тьме все, что считал когда-то важным и что действительно было важным. Но что же дей-

ствительно важно? Важно... Я хочу уважать самого себя, вот что важно. Но если я трус, я не смогу уважать самого себя! А почему ты должен уважать сам себя? Разве обязательно уважать самого себя? Ну, знаешь ли...

Я вновь вспомнил короткий блеск Тониных глаз, который отразил ее стихийную веру в меня и ожидание от меня чего-то. Вспомнил, как потух тот блеск, как она тоскливо погасила зевок и даже не оглянулась, не откликнулась на мой возглас, уходя от костра.

Значит, я трус...

«Распишись же, наконец, в этом! И довольно морочить себе голову»—«Да, но я же знаю, что я не трус».—«Откуда ты знаешь?»—«А вот откуда...»

Я схватил из-под ног «Бюхард» и выкатившийся из берета патрон. Вставил патрон в левый ствол, мысленно приговаривая: «Чок-нечок-получок, чок-нечок-получок». Что такое получок? Патрон вошел в ствол легко. Я выломал ольховый прут, очистил от веток, оставляя на конце рогатку. Затем взвел курок, положил в развилку березы ложу «Бюхарда»... И приставил стволы к правому виску. Озноб омерзения охватил меня. Тело мое хотело кричать в отчаянии, но в голове было ясно, я весь задрожал, но все же поймал рогаткой спусковой крючок и, раскаиваясь, сунул палку вперед. Странная, жуткая тяжесть мгновенно сдавила меня со всех сторон, в висок что-то коротко и туго ударило. И вдруг оглушающая тишина раздвинулась как-то широко и неопределенно. Я медленно опустился на землю.

Недоуменная собачья морда глядела на меня откуда-то из пространства. Жив? Неужели я выиграл? Я вскочил, мгновенно вновь превращаясь в сгусток живой материи, в комок ликующей плоти. Эта плоть снова и, видимо, вопреки мне жила, заявляла свои права на это пространство, на это влажное осеннее утро и, далее, на день и на вечер!

Мне хотелось прыгать, хотелось бежать куда-нибудь в гору и кричать либо звать кого-то. Джек глядел на меня с удивлением.

Я взял берет с оставшимися патронами. Который из них грозил мне небытием? Я представил себя лежащим на берегу с пробитым черепом, в крови, и вздрогнул: ужас вновь на секунду коснулся меня. Я еле унял себя, чтобы не заорать от облегчения и животной, никогда раньше не испытываемой радости. Вынув гильзу, вставил новый патрон и выстрелил в воздух. Раздался щелчок, но пуля не покинула чоковый ствол. Значит, не этот тоже. Который же из них? Оставалось еще четыре патрона. Забыв о пулях, сидящих в стволах, подвергая Сашкин «Бюхард» опасности разорваться в куски, я через нечоковый ствол выпалил вновь. Капсули «жевело» щелкали довольно сильно. Только выстрела все еще не было. Итак, значит, этот последний, шестой патрон. Я зарядил. Взвел курок, вскинул «Бюхард» к плечу и нажал на спуск.

Выстрела опять не последовало... Я медленно осмыслял то, что случилось. Собрал гильзы и пересчитал: мое сомнение окончательно исчезло. Разряжены были все шесть патронов.

«Что ж, эти друзья придумали недурное

развлечение,— подумал я.— Может быть, это стало для них даже эдаким хобби. Ежегодно ездить на «охоту», ловить таких дураков, как я...» Но Алка? Неужели она тоже знала? Не может быть! Она хохотала над современными мужчинами так непритворно. К тому же эти кибернетики вовсе не из таких, чтобы каждый год ездить на охоту с одними и теми же «кадрами»...

Стыд, горечь и гнев по очереди душили меня. Все спали в своих палатках. Я сложил гильзы в тот же берет, упрятал его в рюкзак и повесил все это хозяйство на прежнее место. Затем поднялся на свою территорию и сунул «Бюхард» в палатку к Сашке.

Он храпел теперь не так сладко. Я подошел к своей палатке, слегка отогнул полу. Тоня спокойно посапывала в спальном мешке...

* * *

Мне было жаль будить ее так рано. Я долго сидел на траве, не зная, что делать. Вновь выволок «Бюхард», шомпол и долго выбивал из стволов пыжи и пули. Боже мой, как это все глупо! Часа через два лай Джека разбудил Тоню и Голубева, я, ничего не объясняя, сразу же начал сворачивать палатку. Сашке я пригрозил, что уеду один, и он не стал ничего расспрашивать. Втроем мы быстро собрали свои пожитки.

— Надо хотя бы попрощаться с ними,— не выдержала Тоня, когда все было готово.

— Ничего, авось переживут.

Она метнула на меня взгляд, полный ненависти, и вздохнула, демонстрируя вынужденную покорность. Я помог ей натянуть рюкзак.

Содержание

ИБ № 1075

Василий Иванович Белов

ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ СПОКУ

Сборник прозы

Редактор *Н. Суворова*
Художник *А. Бобров*
Художественный редактор *Н. Егоров*
Технический редактор *Л. Киселева*
Корректоры *М. Доценко, З. Князькова*

Сдано в набор 02.01.78. Подписано к печати 15.06.78. А09395. Формат 70×90/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Печ. л. 8,0. Усл. печ. л. 9.36. Уч. изд. л. 9,19. Тираж 30 000 экз. Заказ. 136. Цена 75 коп.

Издательство „Современник" Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Сортавальская книжная типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли при Совете Министров Карельской АССР. Сортавала, Карельская, 42

